



# Колин Маккалоу

*Поющие  
в терновнике*

## Annotation

Захватывающая семейная сага, пронзительная история о беспримерной любви длиною в жизнь – роман Колин Маккалоу по праву получил всемирное признание, а блестящая экранизация 1983 года принесла ему еще большую популярность.

В этой книге есть все – экзотическая обстановка, неожиданные повороты сюжета, исключительная эмоциональность, тонкие и убедительные психологические портреты. Но прежде всего это подлинный гимн великой любви, во всех ее проявлениях: любви к родной земле, любви к детям и родителям, любви к Богу... и вечной любви мужчины и женщины.

---

---

# **Колин Маккалоу**

## **Поющие в терновнике**

Colleen McCullough  
THE THORN BIRDS

© Colleen McCullough, 1977

© Предисловие. Л. Сумм, 2014

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

\* \* \*

# Предисловие

## Последняя фраза

28 апреля 1789 года на корабле, перевозившем саженцы хлебного дерева с Таити на Ямайку, вспыхнул бунт. Жестокость ли капитана тому причиной или непонятная рядовым участникам экспедиции «прихоть» поливать саженцы пресной водой, в то время как людям ее выдавали строго по рациону, или же не отпускали чары таитянок – впервые английские матросы почувствовали себя не винтиками хорошо налаженной системы, а мужчинами, желанными любовниками – объяснений хватает. Вероятно, мятеж вспыхнул именно из-за совпадения всех этих неоднородных причин, как будто сошлись в одну точку разные линии повествования. Если Колин Маккалоу надумает взяться за историю острова Норфолк, на котором она живет уже 35 лет – а она грозила – у нее, конечно же, проступят все эти сюжеты, и будет воздано должное незаурядной личности лейтенанта Кристиана, который увлек за собой экипаж. Так выстроены «Поющие в терновнике», так выстроена и «Песнь о Трое»: меняются повествователи, смещаются точки зрения, рядом с вечным чувством присутствует экономический фактор. Чтобы избежать спойлеров, сошлемся на пример из «Песни о Трое»: греки рвутся на войну не только из-за Елены Прекрасной, но и ради «нефти» Бронзового века – олова. И харизма Ахилла, рожденного для дружбы и войны, и супружеская слабость Менелая, и откровенная женская сексуальность, и политические интриги, и психология толпы – все это есть в «Песни о Трое» и, если дождемся, будет в «Баунти».

На закате своей творческой жизни – на прогретом субтропическим солнышком закате – Колин успевает едва ли не больше прежнего. В 2007 году, достигнув семидесяти лет, она подводила итоги, сомневаясь, много ли еще удастся написать: унаследованное от матери заболевание глаз лишило ее зрения на одном глазу и подтачивало второй. Писательница торопилась завершить серию «Властителей Рима». Первоначально она хотела остановиться на смерти Цезаря и гибели его убийц. Вышедший в 2002 году двухтомник «Октябрьский конь» – завораживающее чтение: здесь в единый узел сплетаются исторические события, последствия которых ощутимы и спустя два тысячелетия, и живые, складывающиеся на глазах читателя, отношения между людьми. В книге охвачены экономические и политические соображения и частная выгода; волнения александрийской черни, богатства и коррупция Малой Азии, опасности мореплавания, точные детали сражения при Филиппах, родословная правителей Рима; различные проявления общечеловеческой природы, плоды воспитания и симптомы болезней (Маккалоу, со своим медицинским образованием, высказывает интересные и для профессиональных историков предположения о природе эпилептических припадков Цезаря, а у преемника Цезаря, будущего императора Августа, диагностирует астму с аллергией на пыль). Иллюстрирующие книгу портреты главных действующих лиц рисовала сама Колин, ориентируясь на античные бюсты: рисование было ее увлечением с детства наряду с чтением, и, выбирая себе в тридцать лет источник дополнительного приработка, она сначала попробовала живопись (тоже, кстати, успешно), а потом уж, на радость нам, литературу. Наряду с портретами, максимальным выражением свободы автора («такими я их вижу»), все тома «Властителей Рима» снабжены и несколько неожиданным для жанра исторического романа аппаратом: не только списком персонажей,

но и подробным словарем терминов. В авторских комментариях Колин строго размежевывает свои гипотезы и общепринятые теории, отграничивает предположения от установленных наукой фактов. Иными словами, можно читать любую книгу в этой серии как роман, ведь автор соблюдает главное условие художественного текста – ощущение прошлого как становящегося, непосредственное переживание, присутствие во времени.

А можно привлечь семитомник и как дополнительное чтение по истории античности.

Основа такой работы – сбор материала. «Сначала я делаю выписки, потом дважды их перепечатаваю, и они вот тут», – пояснила Колин корреспонденту, прилетевшему к ней за тысячи миль ради юбилейного интервью. «Вот тут» – понятное дело, в голове. А чтобы прочнее укладывалось, Колин так и не перешла с громоздкой электрической машинки IBM на компьютер. В узком кабинете норфолкской виллы она вращается на инвалидном кресле (подводят и мышцы спины) между трехсторонним, в форме буквы П, столом: машинка, рукописи, стопки отпечатанных заметок. Вымысел можно создавать и вслепую, диктуя секретарям – население острова, где всего-то значилось 2300 человек, ощутимо увеличилось за счет свиты Маккалоу, тех, кто читает ей вслух и печатает под ее диктовку. Но исторические книги – только своими руками, выписав и дважды перепечатав каждую деталь. Вот почему, когда настойчивые письма читателей и собственные размышления над историей убедили Колин Маккалоу, что «поворот к империи» следует довести от Мария и Суллы не до гибели Цезаря, но несколько дальше, до падения Антония и Клеопатры и утверждения Октавиана Августа в качестве единого императора Европы и Азии, она принялась за седьмой том. И лишь закончив его к своему семидесятилетию, вернулась к той серии детективов, которую начала в 2006 году, и теперь стабильно выпускает в год по очередному приключению детектива Дельмонико (для XXI века и это – ретродетективы, действие происходит в Америке 1960-х). Осуществила Колин Маккалоу и давнюю озорную затею, опубликовав в 2008 году своеобразный фанфик к «Гордости и предубеждению» Джейн Остин. Нелюбимая Джейн Остин средняя из сестер Беннет, педантичная, некрасивая, сухая Мэри, которой всего-то уделено в романе восемь фраз, в этом продолжении становится главной героиней, ученой, феминисткой, борцом за права бедных. Мэри достаются потрясающие приключения, хороший муж, интересное дело, а главное – независимость. Книга так и называется «Независимость Мэри Беннет».

Женская независимость – ключевая для Колин Маккалоу тема. Родившись в 1937 году в Новой Зеландии, подрастая в столь же колониально-консервативной Австралии, Колин с малолетства задумывалась над возможностью самостоятельности и самообеспечения. В поколении ее матери, в том самом, рожденном в Первую мировую поколение, к которому принадлежит главная героиня саги «Поющие в терновнике», работа все еще остается делом женщин из низшего класса. Домашняя прислуга – наиболее очевидный вариант, официантка – путь скользкий, медсестрой (скорее, нянечкой) – крошечный заработок, монастырская дисциплина, в начале XX века в этой роли и предпочитали видеть монахинь. Все это незавидная доля, завидная – выйти замуж. И совмещать роли прислуги, нянечки, если придется, то и домашней проститутки, причем задаром. Вокруг Колин наблюдала немало дисфункциональных семей, начиная со своей собственной. Холодная, явно не предназначенная для семейной жизни мать: она рано утратила интерес к жизни, подменив его глухим эгоизмом. В том юбилейном интервью Колин с присущей ей резкой прямоотой сказала: мать оглохла и ослепла, превратилась в овощ, но «смертельной хваткой цеплялась за жизнь и дотянула до 98 лет, измучив всех нас». Отец был более живым, но и его энергия

скорее пугала, чем ободряла: он то пытался утвердиться в семье, то бросался в очередной обреченный проект заработать, разбогатеть, но в любом своем качестве – *pater familias* или добытчика – не мог обеспечить ни жене, ни сыну и дочери самого насущного: тепла, уверенности в завтрашнем дне, права побыть наедине с собой. В романах, преимущественно викторианских, которые жадно поглощала Колин, участь женщины выглядела и того печальнее, а более всего огорчал хеппи-энд: если девушка еще могла читать книги, предаваться мечтам, проявлять хоть какое-то подобие индивидуального вкуса (только не чересчур, женихов бы не распугать), под звон свадебных колоколов ловушка захлопывалась. И Колин уже в младшей школе приняла решение: получить профессию, отдать все силы работе, никогда не выходить замуж и вообще эту сторону жизни не затрагивать, чтобы никакие уловки пола или социума не сбили с избранного пути. И еще один зарок она дала себе в ту пору, но об этом чуть позже. Продлим интригу.

Поколение Колин все же совсем другое: высшее образование для девушек уже не казалось чем-то экзотическим, появилась и возможность профессионального, достойно оплачиваемого труда. Как истинный гуманитарий, уже в выпускном классе Колин подрабатывала уроками и журналистикой, но в итоге выбрала медицинский факультет. Оно и понятно: медицина, наряду с преподаванием, – та область, где присутствие женщины поощряется даже традиционным обществом. Но женщину-преподавателя такое общество удерживает в пределах младшей школы и школы для девочек, не позволяя ей свободно делать карьеру, а женщина-врач может сравняться с мужчиной. И нацеливалась Колин амбициозно – на хирургическое отделение.

Типичный для Колин парадокс обнаружился, когда младшекурсников пригласили наблюдать за операцией: ее кожа оказалась слишком чувствительной. Нервы не подвели, Колин деловито трудилась в морге. Ее гуманитарный мозг с легкостью впитывал анатомические и прочие познания. Рука художника уверенно орудовала скальпелем. Но специальное мыло, которым хирурги обрабатывали руки, вызвало дерматит. Несколько упорных попыток – тщетно. Колин покрывалась красными пятнами при малейшем соприкосновении с дезинфицирующим средством. Сейчас подобрали бы альтернативу мылу, но тогда Колин пришлось искать альтернативу облюбованной профессии. К счастью, работа теоретика была для нее столь же органична, как практическая медицина. И юная студентка смогла заняться чрезвычайно интересной, новой и многообещающей наукой о мозге – той, что по-английски называется *neuroscience*, а по-русски то неврологией, то нейробиологией и, кажется, с точки зрения специалистов, оба перевода неверны. В 1950-х годах эта наука еще только формировалась, и границы ее интересов, как и ее методы, еще долго будут уточняться. Насколько молода и жива была эта наука в ту пору, легко судить и по биографии Маккалоу: вчерашняя выпускница стала одним из основателей неврологического отделения в сиднейской больнице Норт Шор (попросту говоря, и было-то там несколько специалистов, ради которых открыли новое отделение). Уже в 26 лет она получила приглашение работать в лондонской больнице, а четыре года спустя уехала в медицинскую школу Йеля заниматься научной работой и преподавать. Можно себе представить, насколько востребована была эта самая нейробиология и каким великолепным специалистом была Колин Маккалоу, если к тридцати годам оказалась на преподавательской и педагогической работе в одной из самых известных медицинских школ США. Однако спрос рождает предложение, и лет через пять Колин ощутила, как ей наступают на пятки молодые выпускники того же Йеля. Не в происхождении и связях загвоздка – австралийцы пользовались в Штатах всеми правами, да

и натурализоваться в любой момент было можно, и авторитет Колин заслужила такой, что никаким фаворитизмом его не обойти – но одно было непоправимо: ее пол. Будучи женщиной, она едва ли могла рассчитывать на что-то лучшее, чем уже имевшаяся у нее должность научного сотрудника и преподавателя. Профессор – вряд ли. И (мы все же в середине 1970-х) ее ставка составляла чуть больше половину от ставки мужчины на той же должности. Социальная справедливость: мужчина содержит семью, одинокая женщина вполне может довольствоваться меньшим.

Одинокая женщина в самом деле могла довольствоваться половинной ставкой. Пока не задумывалась о старости: маленькая ставка – ничтожная пенсия. Однокомнатная квартира, вход с общего балкона. Экономия на отоплении. Продукты из магазина со скидками. Вечная озабоченность вопросом, как перебиться.

Колин Маккалоу, трезвомыслящая женщина, всерьез занялась решением этой проблемы. С ее интересом к женской независимости, казалось бы, она должна была принять участие в гражданской борьбе за равноправие. Но она предпочитала индивидуальные решения, полагаясь только на собственные силы. Нужно было добыть денег, чтобы обрести наконец полную уверенность в завтрашнем и послезавтрашнем дне.

Сначала она попробовала подработать живописью. Прошли две довольно успешные выставки, но доход от них был ничтожный и малонадежный. Тогда Колин пустила в ход свой козырь: написала роман. По ее словам, именно затем, чтобы к зарплате научного сотрудника иметь приварок. Примерно с таким прицелом: гонорар вложить в надежные акции и постепенно обеспечить себе независимый доход, обзавестись собственным домом. Для верности Колин наделила всем этим героиню своей первой книги. Эта женщина лет сорока выросла в приюте и смолоду сама себя содержала. Подучившись, устроилась в преуспевающую компанию личным помощником руководителя, большую часть зарплаты откладывала, поскольку не знала никаких соблазнов молодости. В тридцать лет попросила своего босса поместить накопленные деньги в ценные бумаги и продолжала копить. И вот у нее дом в городе, вилла в прекрасной глуши, отличный автомобиль с сиденьями из хорошо выделанной кожи, недешевые костюмы и украшения. Она никогда не была близка с мужчиной, ей мешает верещание цикад в саду, спускаясь из своей виллы на пляж, она не решается войти в воду – эта австралийка (Колин Маккалоу перенесла место действия в знакомый с юности ландшафт) не умеет плавать. А потом (вернее, на первой же странице романа) она встречает Тима – юного, прекрасного, словно Аполлон, доброго и с уровнем развития шестилетнего ребенка.

Чем подробно пересказывать, лучше сразу перейти к последней фразе. Колин Маккалоу уверяет, что, приступая к очередной книге, может ничего не знать, но последнюю фразу знает твердо. Тем более что в данном случае с этой фразы все и началось: ее Колин услышала от женщины, которая привела на прием умственно отсталого юношу:

– Это не сын, это мой муж.

Первым романом Колин рассказала себе не только о том, чего у нее пока нет и чего она хотела бы и рассчитывает добиться – она вспомнила и о том, чего у нее нет и, вероятно, никогда не будет. Неожиданно для автора рядом с темой профессионализма и независимости проступила иная, личная и болезненная тема: женского одиночества, страха перед жизнью, безнадежно упущенных лет. Героине «Тима» ниспослано чудо, и она сумела это чудо удержать. В книге-то оно так, но разве такое может случиться с автором? Колин, человек трезвый, на чудеса не рассчитывала, в особенности на внезапный дар любви. В этом смысле

она давно поставила на себе крест. И чтобы понять, отчего же ей не полагается любви, она взялась за вторую книгу, за семейную историю в трех поколениях. По возрасту сама Колин попадает в младшее поколение, она – дочь Мэгги, а не сама Мэгги, хотя у читателя может сложиться иное впечатление, как потому, что Мэгги находится в средоточии сюжета, так и потому, что Мэгги написана с интересом и сочувствием. Дочка странная, как бы с природным изъяном – холодностью, неумением любить родителей, собственнической привязанностью к брату, страхом перед мужской любовью. Такой Колин написала себя, хотя, вероятно, уже тогда понимала, что причина скорее в матери, чем в ней самой. Она взяла на себя ответственность за свой склад характера и свои отношения с жизнью – и это спасло ее, когда жизнь внезапно повернулась к писательнице благоприятной, пугающе изобильной стороной.

«Тим» принес ей пятьдесят тысяч долларов, сумма для начинающего автора даже по современным представлениям весьма приличная. «Поющие в терновнике» вышли втрое длиннее, и Колин рассчитывала на сто пятьдесят тысяч и покупку квартиры или дома. Когда же только в Америке права были приобретены почти за два миллиона, всю концепцию постепенного благоразумного накопления пришлось пересматривать.

Маккалоу разом получила ту сумму, которую могла бы собрать разве что к пенсии, неустанно выпуская книгу за книгой и деньги, по примеру той своей героини, вкладывая в акции. В самом начале пути цель уже была достигнута. Можно сразу выйти на пенсию. Можно никогда больше не писать для заработка, если и писать – так только для удовольствия. Она именно так и поступила. С сорока лет Колин Маккалоу сделалась профессиональной писательницей – и вместе с тем антипро-фессиональной, ибо она решительно отвергала и продолжает вот уже тридцать семь лет отвергать грамотный коммерческий совет: «Поющих в терновнике-2» не будет, наотрез заявила она. У нее, оказывается, со школьных лет была мечта написать как минимум по книге в каждом из любимых читателями жанров. И она осуществила эту мечту, вместо очередной австралийской семейной саги сочинив семь томов исторических романов (попутно удостоилась докторской степени по истории), детективный сериал, исторические любовные романы, разнузданную «Непристойную страсть», фантастику-антиутопию, биографию современника, биографию одного из ранних поселенцев Австралии, поваренную книгу. К семейной саге она вернулась только что, в 2013 году, главным образом потому, что ее пленило слово *Bittersweet*, сладостно-горький, и показалась забавным написать историю четырех сестер, двух близнецных пар, которые вступают в жизнь между двумя войнами. Вновь, как и в «Поющих в терновнике», в «Октябрьском коне», в «Песни о Трое», Колин Маккалоу отталкивается от слова и связанного с ним образа – птицы, чье сердце пронзено шипом; лучшего коня, приносимого в жертву во благо города и мира; прекрасного юноши, чья красота полнее всего раскрывается в наготе и смерти; горько-сладостной текстуры жизни.

Ни один писатель не свободен от некоей сквозной темы. Он может менять сюжеты и жанры, писать ради славы или ради денег, вкривь и вкось судить о природе своего дарования, но нечто главное прорвется и утвердится. В столь разных по замыслу и назначению книгах Колин Маккалоу упорно проступает эпическое начало. Оно не только в размахе, не только в потребности добраться до корней и сути, запечатлеть исторический момент выхода Австралии из провинциальной изоляции на мировую арену, превращения Рима из замкнутого на себе города в центр ойкумены, появления у греков геополитического мышления. Эпическое начало – в соединении общечеловеческого и конкретного,

исторического и домашнего. Человек по своему нелепому устройству отталкивается и от чересчур знакомого (зачем мне опять про любовь, отвагу, верность дружбы, страх смерти?) и от «чужого» (далекая Австралия, Древний Рим, мифическая Троя – мне есть до них дело?). И чтобы втянуться, опять же требуется нечто узнаваемое (любовь, дружба, миф) и обещание новизны (неведомый европейцам и американцам континент, например). Как соединить это, как задать верную меру? Эпосом с гомеровских времен найдено единственное средство: сравнение.

И чем чудовищнее и необычнее ситуация, тем более повседневное и прозаичное требуется сравнение. Жизнь Одиссея висит на волоске между двумя морскими чудовищами, Сциллой и Харибдой, и Гомер считает уместным обозначить тот час, когда с грохотом извергается вода и корабль, потерявший часть гребцов, вырывается все же на волю, как ту самую пору дня, когда усталый пахарь присаживается на меже скушать свой бутерброд с сыром. Где тот пахарь, где суша, и плуг, и хлеб, и твердая пища? Ничего, кроме бушующей бездны вокруг, и слушатели, обступившие певца, едва ли видят что-либо, кроме этой бездны – и вдруг, спохватившись, обводят друг друга взглядом и вспоминают плуг, запряжку быков, хлеб с сыром, свою повседневность, которая только что была воспета в сравнении, в слиянии с морем и мифом.

Сравнение работает в обе стороны. Будничную жизнь прославляет, книжную приближает к реальной. И возвышает, и соизмеряет с человеком. Этот странный образ птицы, которая поет, истекая кровью из пронзенного шипом сердца – откуда он? Кто-то помнит его из сказок Андерсена, кто-то из восточной поэзии, Колин Маккалоу подает его как родной, австралийский.

Таких образов в романе очень немного. Собственно, эта птица в терновнике да пепел розы – вот главные. Их и не должно быть много, это ведь не украшение, а символ – точка схождения земного и небесного, тот миг, в котором осмысливается жизнь. И насильно символы не расставишь, эпос умышленно не сочинишь – символ возникает из равенства жизни и слова, писателя и героя. Эпос – высшая свобода, какая только возможна для человеческого творения: автор утрачивает власть над героями.

В конце саги освобождение наступило для всех персонажей Маккалоу, даже для ее альтер эго. Дочь сумела принять себя такой, как есть. Смерть единственного брата из бессмыслицы стала эпосом. Примирение с матерью состоялось – но не путем поглощения. Дочь не вернется в имение, у нее есть, пусть запоздало, муж, есть любимое дело.

Герои свободны – неужели же над автором книга надсмеется? Ведь с символичностью и значительностью жизни можно переборщить, положиться на знаки и стать их рабом. Не расставила ли себе Колин слишком четкие знаки – не расставила ли себе ту самую ловушку, из которой бежала? А теперь что же? Возвращаться к матери, жить, отбывая дочерний долг?

Скорее всего, именно этого от нее и ждали: работать дальше ей не было никакой надобности, вернуться, приобрести землю, построить дом, покоить близких – чем не хеппи-энд. И впервые в жизни Колин Маккалоу ощутила страх. Для одинокой самостоятельной женщины, построившей жизнь вокруг необходимости зарабатывать на жизнь и обеспечить себе такую же самодостаточность в старости, что может быть страшнее, чем преждевременно сбывшаяся мечта? Нет необходимости думать о будущем. А значит, следует жить настоящим. Но жить настоящим она не умела и не могла. До такой степени, что пугала себя и вероятностью вложить деньги в дутые бумаги, пасть жертвой мошенников и того хуже: выскочить замуж за какого-нибудь альфонса. Она ведь совсем не искушена в жизни, не

влюблялась, не флиртовала. Она поверит первому же ласковому слову, она обманется в собственных чувствах и вместо независимости получит худший из всех видов несвободы – построенный на лжи и самообмане брак. Ей стало так страшно, что она готова была даже вернуться в Австралию. По крайней мере, на знакомую территорию.

Но хеппи-энд не в том, чтобы разбогатеть и вернуться в Австралию. То есть хеппи-энд, может быть, и в этом. Но мы же говорим не о романе с хеппи-эндом, а об эпосе, о мере, сравнении, выравнивании. Человек, написавший такую книгу, просто не мог, не смел бояться жизни. Если автор сумел дать свободу своей книге, то и книга должна освободить автора – вот единственная проверка подлинности, эпос ли это или так себе, искусственный механизм. Что-то произошло в душевном строе Колин Маккалоу – как и что, мы не знаем, отношения написанной книги с автором еще таинственнее, чем отношения автора с создаваемой книгой – и Колин стала целиком и полностью самой собой. Той, какой ее застанут корреспонденты и спустя тридцать, и спустя тридцать пять лет. Беспардонно курящей на крыльце австралийского ресторанчика: «есть свои преимущества в инвалидном кресле, не покаты же меня в отделение». Не страшась ни боли в спине, ни слепоты. Не желающей писать коммерческие продолжения, зато превратившей свою жизнь в продолжение собственных книг.

Делать в Америке и правда было нечего, но и возвращаться Колин не спешила – как вариант, подумала она, сгодился бы остров. Немноголюдный остров, достаточно близко от Австралии, чтобы мать можно было проводить, и достаточно далеко, чтобы жить своей жизнью. Она отправилась посмотреть остров Норфолк – и осталась там жить.

Остров Норфолк в южной части Тихого океана англичане начали осваивать в конце XVIII века. Растили преимущественно лен и коноплю: Екатерина Великая отказала Англии в поставках из России, а владычица морей нуждалась в веревках. Трудились в основном каторжники, их завозили и на острова, не только в Австралию. В XIX веке каторжную тюрьму закрыли и эвакуировали на Норфолк большую часть жителей Питкэрна, потомков бунтовщиков в «Баунти».

Флетчер Кристиан, возглавивший мятеж на корабле, несмотря на свою молодость, был не только отважен и вспыльчив. Он оказался прекрасным вождем для своего малочисленного народа. Большинство матросов желало, конечно же, вернуться на Таити, к своим женщинам. Кристиан выполнил их желание, и его тоже ждала там любимая, но оставаться на Таити Кристиан считал безумием: очередной английский корабль их обнаружит, пришлют карательную экспедицию, и висеть им всем на реях. Часть экипажа все же осталась, понадеявшись отсидеться в джунглях, когда появится корабль – этих матросов постиг печальный конец. Прочие под началом Кристиана, вместе с туземными женщинами, а также и туземными мужчинами, возжаждавшими приключений, отправились на поиски необитаемой земли и в итоге зацепились за крошечный Питкэрн. Здесь им тоже пришлось нелегко: спустя несколько лет таитяне взбунтовались против белых, при подавлении этого мятежа Кристиан погиб и уцелело всего пятеро белых, которые без командира спились, перессорились, кто погиб в драке, кто утонул. Когда английский корабль спустя четверть века все же отыскал их, островом правил единственный уцелевший моряк по фамилии Адамс. Поскольку моряки брали себе по несколько жен, да еще порой и менялись женщинами, основной задачей патриарха было вести родословные книги и следить за тем, чтобы сводные братья и сестры не вступали друг с другом в брак.

И эта удивительная маленькая колония процветала. К ней присоединился присланный

из Англии священник, какие-то до нее добрались жители соседних островов, но главным образом это были потомки бунтовщиков с «Баунти» и их таитянских жен. Когда число жителей перевалило за сотню, им стало не хватать пресной воды на их маленьком острове, и взять ее было неоткуда. Британское правительство попыталось решить проблему, переселив питкэрнцев на родину их бабушек, на Таити – оказалось, что для них невозможна жизнь в многолюдстве, они впадали в депрессию, подхватывали все местные инфекции, умирали. Тогда попробовали Норфолк – и там они прижились. С полсотни коренных жителей и поныне держатся за свой Питкэрн, однако на Норфолке питкэрнцы дали многочисленное потомство, из 2300 жителей их, по меньшей мере, тысяча. Из-за понятного однообразия фамилий и довольно скудного выбора имен (например, среди потомков Кристиана в каждом поколении непременно имеется Четверг Октябрь, в честь дня высадки на Питкэрн) в телефонном справочнике указываются также прозвища. Под влиянием питкэрнцев на Норфолке наряду с английским языком используется «питкэрнский» и чаще, чем «Боже, храни королеву», звучит гимн Питкэрна – стихи из 25-й главы Евангелия от Матфея:

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня... истинно говорю вам; так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Девизом Норфолк выбрал себе слово из гимна. Союзное слов *inasmuch* – «так как» в Синодальном переводе, буквально же: «настолько, насколько». Союз, задающий равенство и меру, соотношение земного и небесного, жизни и осмысления жизни.

Удивительно ли, что и Колин прижилась на этом острове? Огляделась, купила дом-развалюху, устроила себе кабинет, наняла работников ремонтировать старые стены и приводить в порядок сад. А сама уселась писать следующую книгу.

Однажды один из работников, Рик Робинсон, услышал из сада смех. Уж над чем там Колин смеялась сама с собой, что такое ввернула в рукопись «Непристойной страсти»? Рiku было 33 года. Он всю жизнь прожил на острове, он, потомок бунтовщиков и таитянок, кое-что понимал в свободе и в женщинах. Никогда, говорит он и тридцать лет спустя, никогда он не слышал такого свободного, такого сексуального смеха. И он пошел на этот призыв. Через несколько месяцев они поженились. Колин на 13 лет старше мужа. Они живут счастливо и поныне.

Да, свободу Колин этот брак все же несколько ограничил. В самой писательнице органично сочетается работающий сутки напролет за письменным столом интроверт с общительным, жаждущим путешествий и многолюдства «путешественником по жизни». Но Рик, как и все жители Норфолка, не переносит ни чужаков, ни долгой разлуки с домом, ни бездельной болтовни. В последние годы им приходится часто летать в Сидней – регулярные процедуры для спасения глаз Колин. И чтобы Рик не маялся, Колин придумала выход: купила в Сиднее пустую, необустроенную квартиру. Теперь в каждый приезд Рик занят ремонтом и чувствует себя дома. Потому что для него, как и для Колин, своя жизнь – только то, что сложено своими руками.

– Они все такие там, на острове, – поясняет Колин. – Если нужно просверлить дырку, они сперва просверлят ее в голове, а потом уже возьмутся за инструмент. Они всегда знают, каков будет результат, иначе не возьмутся за дело.

И она такая же там, на острове.

– Некоторые писатели говорят, что заранее не знают, какой будет последняя фраза в их книге. Не представляю себе: я всегда знала, какой будет последняя фраза.

*Джин Истхоуп, «старшей сестре»*

*Есть такая легенда – о птице, что поет лишь один раз за всю свою жизнь, но зато прекраснее всех на свете. Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдет. Среди колючих ветвей запекает она песню и бросается грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей. Единственная, несравненная песнь, и достается она ценою жизни. Но весь мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог улыбается в небесах. Ибо все лучшее покупается лишь ценою великого страдания... По крайней мере так говорит легенда.*

# I

## 1915–1917

### Мэгги

#### I

Восьмого декабря 1915 года Мэгги Клири исполнилось четыре года. Прибрав после завтрака посуду, мать молча сунула ей в руки сверток в коричневой бумаге и велела идти во двор. И вот Мэгги сидит на корточках под кустом утесника у ворот и нетерпеливо тербит сверток. Не так-то легко развернуть неловкими пальцами плотную бумагу; от нее немножко пахнет большим магазином в Уэхайне, и Мэгги догадывается: то, что внутри, не сами делали и никто не дал, а – вот чудеса! – купили в магазине.

С одного уголка начинает просвечивать что-то тонкое, золотистое; Мэгги еще торопливее набрасывается на обертку, отдирает от нее длинные неровные полосы.

– Агнес! Ой, Агнес! – говорит она с нежностью и мигает, не веря глазам: в растрепанном бумажном гнезде лежит кукла.

Конечно, это чудо. За всю свою жизнь Мэгги только раз была в Уэхайне – давно-давно, еще в мае, ее туда взяли, потому что она была пай-девочкой. Она забралась тогда в двуколку рядом с матерью и вела себя лучше некуда, но от волнения почти ничего не видела и не запомнила, только одну Агнес. Красавица кукла сидела на прилавке нарядная, в розовом шелковом кринолине, пышно отделанном кремовыми кружевными оборками. Мэгги в ту же минуту окрестила ее Агнес – она не знала более изысканного имени, достойного такой необыкновенной красавицы. Но потом долгие месяцы она лишь безнадежно тосковала по Агнес; ведь у Мэгги никогда еще не было никаких кукол, она даже не подозревала, что маленьким девочкам полагаются куклы. Она превесело играла свистульками, рогатками и помятыми оловянными солдатиками, которых уже повыбрасывали старшие братья, руки у нее всегда были перепачканы, башмаки в грязи.

Мэгги и в голову не пришло, что Агнес – игрушка. Она провела ладонью по складкам ярко-розового платья – такого великолепного платья она никогда не видела на живой женщине – и любовно взяла куклу на руки. У Агнес руки и ноги на шарнирах, их можно повернуть и согнуть как угодно; даже шея и тоненькая стройная талия сгибаются. Золотистые волосы высоко зачесаны и разубраны жемчужинками, открытая нежно-розовая шея и плечи выступают из пены кружев, сколотых жемчужной булавкой. Тонко разрисованное фарфоровое личико не покрыли глазурью, и оно матовое, нежное, совсем как человеческое. Удивительно живые синие глаза блестят, ресницы из настоящих волос, радужная оболочка – вся в лучиках и окружена темно-синим ободком; к восторгу Мэгги, оказалось, что, если Агнес положить на спину, глаза у нее закрываются. На одной румяной щеке чернеет родинка, темно-красный рот чуть приоткрыт, виднеются крохотные белые зубы. Мэгги уютно скрестила ноги, осторожно усадила куклу к себе на колени – сидела и не сводила с нее глаз.

Она все еще сидела там, под кустом, когда из зарослей высокой травы (так близко к забору ее неудобно косить) вынырнули Джек и Хьюги. Волосы Мэгги, как у истинной Клири,

пылали точно маяк: всем детям в семье, кроме Фрэнка, досталось это наказание – у всех рыжие вихры, только разных оттенков. Джек весело подтолкнул брата локтем – гляди, мол. Переглядываясь, ухмыляясь, они подобрались к ней с двух сторон, будто они солдаты и устроили облаву на изменника маори. Да Мэгги все равно бы их не услышала, она была поглощена одной только Агнес и что-то ей тихонько напевала.

– Что это у тебя, Мэгги? – подскочил к ней Джек. – Покажи-ка!

– Да, да, покажи! – со смехом подхватил Хьюги, забежав с другого боку.

Мэгги прижала куклу к груди, замотала головой:

– Нет! Она моя! Мне ее подарили на рождение!

– А ну, покажи! Мы только поглядим!

Гордость и радость взяли верх над осторожностью. Мэгги подняла куклу, пускай братья полюбуются.

– Смотрите, правда красивая? Ее зовут Агнес.

– Агнес? Агнес? – Джек очень похоже изобразил, будто подавился. – Вот так имечко, сю-ю! Назвала бы просто Бетти или Маргарет.

– Нет, она Агнес.

Хьюги заметил, что у куклы запястье на шарнире, и присвистнул.

– Эй, Джек, гляди! Она может двигать руками!

– Да ну? Сейчас попробуем.

– Нет-нет! – Мэгги опять прижала куклу к груди, на глаза навернулись слезы. – Вы ее сломаете. Ой, Джек, не тронь, сломаете!

– Пф-ф! – Чумазыми смуглыми лапами Джек стиснул запястья сестры. – Хочешь, чтоб я тебе самой руки выкрутил? И не пищи, плакса, а то Бобу скажу. – Он стал разнимать ее руки с такой силой, что они побелели, а Хьюги ухватил куклу за юбку и дернул. – Отдай, а то хуже будет.

– Не надо, Джек! Ну пожалуйста! Ты ее сломаете, я знаю, сломаете! Ой, пожалуйста, оставь ее! Не тронь, ну пожалуйста!

Ей было очень больно, она всхлипывала, топала ногами и все-таки прижимала куклу к груди. Но под конец Агнес выскользнула из-под ее рук.

– Ага, есть! – заорал Хьюги.

Джек и Хьюги занялись новой игрушкой так же самозабвенно, как перед тем их сестра, стащили с куклы платье, нижние юбки, оборчатые штанишки. Агнес лежала нагишом, и мальчишки тянули ее и дергали, одну ногу задрали ей за голову, а голову повернули задом наперед, сгибали и выкручивали ее и так и сяк. Слезы сестры их ничуть не трогали, а Мэгги и не подумала где-то искать помощи: так уж было заведено в семье Клири – не можешь сам за себя постоять, так не надейся на поддержку и сочувствие, даже если ты девчонка.

Золотые куклины волосы растрепались, жемчужинки мелькнули в воздухе и пропали в густой траве. Пыльный башмак, который недавно топал по кузнице, небрежно ступил на брошенное платье – и на шелку остался жирный черный след. Мэгги поскорее опустилась на колени, подобрала крохотные одежки, пока они не пострадали еще больше, и принялась шарить в траве – может быть, найдутся разлетевшиеся жемчужинки. Слезы слепили ее, сердце разрывалось от горя, прежде ей неведомого, – ведь у нее никогда еще не бывало ничего своего, о чем стоило бы горевать.

Фрэнк швырнул шипящую подкову в холодную воду и выпрямился; в последние дни

спина не болела – пожалуй, он привыкает наконец бить молотом. Давно пора, сказал бы отец, уже полгода работаешь в кузнице. Фрэнк и сам помнил, как давно его приобщили к молоту и наковальне; он мерил эти дни и месяцы мерою обиды и ненависти. Теперь он швырнул молот в ящик для инструментов, дрожащей рукой отвел со лба прядь черных прямых волос и стянул через голову старый кожаный фартук. Рубашка лежала в углу на куче соломы; он медленно побрел туда и стоял минуту-другую, широко раскрыв черные глаза, смотрел в стену, в неструганные доски, невидящим взглядом.

Он был очень мал ростом, не выше пяти футов и трех дюймов, и все еще по-мальчишески худ, но обнаженные руки уже бугрились мышцами от работы молотом и матовая, безупречно чистая кожа лоснилась от пота. Из всей семьи его выделяли темные волосы и глаза, пухлые губы и широкое переносье тоже были не как у других, но это потому, что в жилах его матери текла толика крови маори – она-то и сказалась на облике Фрэнка. Ему уже скоро шестнадцать, а Бобу только-только минуло одиннадцать, Джеку – десять, Хьюги – девять, Стюарту – пять и малышке Мэгги – три. Тут он вспомнил: сегодня восьмое декабря, Мэгги исполняется четыре. Он надел рубашку и вышел из сарая.

Их дом стоял на вершине невысокого холма, от сарая – он же конюшня и кузница – до него с полсотни шагов. Как все дома в Новой Зеландии, он был деревянный, нескладный, всего лишь одноэтажный, зато расползался вширь: случись землетрясение, хоть что-нибудь да уцелеет. Вокруг дома густо росли кусты утесника, сейчас щедро осыпанные ярко-желтыми цветами; и трава зеленая, сочная, настоящая новозеландская трава. Даже среди зимы, когда, случается, в тени весь день не тает иней, трава никогда не буреет, а долгим ласковым летом ее зелень становится еще ярче. Дожди идут тихие, спокойные, не ломают нежных ростков и побегов, снега никогда не бывает, а солнце греет как раз настолько, чтобы взлелеять, но не настолько, чтоб иссушить. Грозные стихии в Новой Зеландии не разят с небес, но вырываются из недр земли. Горло всегда перехвачено ожиданием, всегда ощущаешь под ногами неуловимую дрожь, глухие подземные раскаты. Ибо там, в глубине, таится невообразимая устрашающая сила, сила столь могучая, что тридцать лет тому назад она смела с лица земли огромную гору; в безобидных на вид холмах разверзлись трещины, с воем и свистом вырвались столбы пара, вулканы изрыгнули в небо клубы дыма, и воды горных потоков обжигали. Маслянисто вскипали огромные озера жидкой грязи, волны неуверенно плескались о скалы, которых, быть может, они уже не найдут на прежнем месте в час нового прилива, и толщина земной коры кое-где не превышала девятисот футов.

И все же это добрая, благодатная земля. За домом раскинулась чуть всхолмленная равнина, зеленая, точно изумруд на кольце Фионы Клири – давнем подарке жениха; равнина усеяна тысячами белых пушистых комочков, только вблизи можно разглядеть, что это овцы. За волнистой линией холмов голубеет небо и на десять тысяч футов вздымается гора Эгмонт, уходя вершиной в облака, ее склоны еще побелены снегом и очертания так правильны, так совершенны, что даже те, кто, как Фрэнк, видит ее всю жизнь, изо дня в день, не устают ею любоваться.

Подъем к дому довольно крутой, но Фрэнк торопится, он знает, что отлучаться из кузницы ему сейчас не положено: у отца правила строгие. Но вот он обогнул угол дома и увидел детей под кустом утесника.

Фрэнк сам возил мать в Уэхайн за куклой для Мэгги и до сих пор удивляется, с чего ей это вздумалось. Мать вовсе не склонна делать в дни рождения непрактичные подарки, на это нет денег, и она никогда прежде никому не дарила игрушки. Все они получают что-нибудь из

одежды; в дни рождения и на Рождество пополняется скудный гардероб. Но наверное, Мэгги увидела эту куклу, когда один-единственный раз ездила в город, и Фиона об этом не забыла. Фрэнк хотел было расспросить ее, но она только пробормотала, что девочке нельзя без куклы, и скорее заговорила о другом.

Сидя на дорожке, ведущей к дому, Джек и Хьюги в четыре руки безжалостно выворачивали все куклины суставы. Мэгги стояла к Фрэнку спиной и смотрела, как братья издеваются над Агнес. Аккуратные белые носки Мэгги сползли на черные башмачки, из-под праздничного коричневого бархатного платья виднелись голые ноги. По спине рассыпались и сверкали на солнце тщательно накрученные локоны – не медно-рыжие и не золотые, а какого-то особенного цвета между тем и другим. Белый бант из тафты, которому полагалось удерживать волосы спереди, чтобы не падали на лицо, обмяк и съехал набок, платье все в пыли. В одной руке Мэгги стиснула куклины одевашки, другой тщетно пытается оттолкнуть Хьюги.

– Ах вы, паршивцы!

Джек и Хьюги мигом вскочили и дали стрекача, позабыв про куклу: когда Фрэнк ругается, самое разумное – удирать.

– Только троньте еще раз эту куклу, я вам ноги повыдергаю! – закричал им вдогонку Фрэнк.

Потом наклонился, взял Мэгги за плечи и легонько встряхнул:

– Ну-ну, не надо плакать. Они ушли, больше они твою куклу не тронут, будь спокойна. Улыбнись-ка, ведь нынче твой день рождения!

По распухшему лицу девочки в три ручья катились слезы; она подняла на Фрэнка такие огромные, такие страдающие серые глаза, что у него перехватило дыхание. Он вытащил из кармана штанов грязный лоскут, неуклюже вытер ей лицо, зажал в складках носик:

– Сморкайся!

Мэгги послушалась, слезы высохали, только говорить было трудно – мешала икота.

– Ой, Ф-ф-фрэнк, они у меня от-от-отняли Агнес! – Она всхлипнула. – У нее в-в-волосы растрепались, и м-ма-ненькие жемчужинки все рассыпались! П-покатились в т-т-траву, и я их никак не н-найду!

И опять прямо на руку ему брызнули слезы; Фрэнк посмотрел на свою мокрую ладонь, потом слизнул с нее соленые капли.

– Ну ничего, сейчас мы их отыщем. Только ведь когда плачешь, так, конечно, ничего в траве не углядишь, и потом, что это ты залопотала, как младенец? Ты давно умеешь говорить не «маненькая», а «маленькая». Давай еще раз высморкайся и подбери свою несчастную... как ее, Агнес? Надо ее одеть, а то она обгорит на солнце.

Он усадил девочку с края дорожки, осторожно подал ей куклу и стал шарить в траве – и скоро с победным криком поднял над головой жемчужину.

– Одна есть! Вот увидишь, мы их все разыщем!

Мэгги с обожанием смотрела на старшего брата, а он все шарил в высокой траве и одну за другой показывал ей найденные жемчужины, потом она спохватилась – у Агнес, наверное, очень нежная кожа, как бы и вправду ее не сожгло солнце, – и принялась одевать куклу. Та как будто всерьез не пострадала. Прическа рассыпалась, волосы растрепались, руки и ноги в пятнах оттого, что мальчишки вертели и крутили их грязными лапами, но целы. У Мэгги над ушами были вколоты черепаховые гребенки – она стала дергать одну, наконец вытащила и принялась расчесывать волосы Агнес, самые настоящие волосы, искусно наклеенные на

марлю и выбеленные до соломенно-золотистого цвета.

Мэгги неловко теребила какой-то узел в волосах куклы, и вдруг случилось ужасное. Волосы оторвались все сразу и спутанным комом повисли на гребенке. Над гладким лбом Агнес не оказалось ничего – не было темени, хотя бы голого черепа. Просто ужасная зияющая дыра. Испуганная Мэгги наклонилась и, вся дрожа, заглянула внутрь. Изнутри неясно угадывались очертания щек и подбородка, свет проникал через приоткрытые губы, и силуэтом чернели зубы, точно у какого-то зверька, а над всем этим Мэгги увидела глаза Агнес – два страшных твердых шарика насажены были на проволочный прут, безжалостно пронзающий голову куклы.

Мэгги отчаянно, совсем не по-детски, вскрикнула, отшвырнула Агнес и все кричала, закрыв лицо руками, ее трясло, колотило крупной дрожью. Потом она почувствовала – Фрэнк отнимает ее ладони от лица, берет ее на руки, прижимает к себе. Она уткнулась лбом ему в шею, крепко обняла – его близость утешала, успокаивала, и Мэгги даже почувствовала, как славно от него пахнет: лошадыми, потом, железом.

Наконец она немного успокоилась, и Фрэнку удалось выпросить у нее, что случилось; он поднял куклу и с недоумением разглядывал ее пустой череп и пытался вспомнить – мучили ли и его непонятные страхи, когда он был малышом. Но нет, его преследовали другие наваждения: люди, перешептывания, косые взгляды. Вспомнились измученное, робкое лицо матери, дрожь ее руки, сжимающей его руку, ее поникшие плечи.

Что же увидела Мэгги, что ее так ужаснуло? Пожалуй, она бы куда меньше напугалась, если бы Агнес, потеряв волосы, просто залилась кровью. Это дело обычное, в семействе Клири по меньшей мере раз в неделю кто-нибудь уж непременно порежется или разобьется до крови.

– Глаза... глаза... – шептала Мэгги, она отворачивалась, нипочем не хотела смотреть на куклу.

– Чудо, а не кукла! – пробормотал Фрэнк, зарываясь лицом в волосы сестры. Что за волосы, густые, мягкие и такие удивительно яркие!

Добрых полчаса он умасливал Мэгги, пока удалось заставить ее посмотреть на Агнес, и еще с полчаса – пока не уговорил заглянуть в дырявую куклину голову. Он показал девочке, как устроены глаза, как все точно рассчитано и пригнано, чтобы они не косили, легко закрывались и открывались.

– Ну, а теперь тебе пора домой, – сказал он, повыше поднял сестренку, прижал к себе, втиснул куклу посередке. – Мы попросим маму привести ее в порядок, ладно? Постираем и погладим ей платье и приклеим обратно волосы. А с этими жемчужинками я тебе сделаю настоящие шпильки, чтоб не падали, и ты сможешь ее причесывать на все лады, как захочешь.

Фиона Клири на кухне чистила картошку. Она была чуть ниже среднего роста, очень хороша собой, настоящая красавица, но лицо строгое, суровое; безукоризненно стройная фигура с тонкой талией ничуть не расплылась, не отяжелела, хотя эта женщина и выносила под сердцем шестерых детей. На ней было серое миткалевое платье, длинная юбка спадала до чистого как стеклышко пола; спереди платье прикрывал широчайший накрахмаленный белый фартук, он надевался через голову и завязан был на спине аккуратнейшим жестким от крахмала бантом. С раннего утра и до поздней ночи жизнь ее протекала в кухне и в огороде, ноги в грубых черных башмаках носили ее все по тому же кругу – от плиты к корыту, от

стирки к грядкам, а там к бельевой веревке и снова к плите.

Она положила нож на стол, посмотрела на Фрэнка с Мэгги, углы красиво очерченных губ опустились.

– Мэгги, я тебе позволила с утра надеть лучшее платье с одним условием – чтоб ты его не запачкала. А посмотри на себя! Какая же ты грязнуля!

– Она не виновата, мам, – вступился Фрэнк. – Джек и Хьюги отняли у нее куклу, хотели поглядеть, как действуют руки и ноги. Я ей обещал, что мы поправим дело, будет кукла опять как новенькая. Мы ведь сумеем, правда?

– Дай посмотрю. – Фиа протянула руку.

Она была не щедра на слова, больше отмалчивалась. О чем она думала, не знал никто, даже ее муж; держать в строгости детей она предоставляла ему и все, что он велел, исполняла беспрекословно и безропотно, разве только случится что-то уж вовсе не обычное. Мэгги слышала, мальчишки шептались между собой, будто мать боится отца не меньше, чем они сами, но если это было и верно, страх она скрывала под маской непроницаемого, чуть хмурого спокойствия. Она никогда не смеялась и, что бы ни было, ни разу не вспыхнула.

Внимательно осмотрев Агнес, Фиа положила ее на шкафчик возле плиты и посмотрела на Мэгги.

– Завтра утром я постираю ей платье и сделаю новую прическу. А сегодня вечером, после ужина, Фрэнк может приклеить ей волосы и вымыть ее.

Слова эти прозвучали не то чтобы утешительно, скорее, деловито. Мэгги кивнула, неуверенно улыбнулась; в иные минуты ей ужасно хотелось, чтобы мать засмеялась, но этого никогда не бывало. Мэгги чувствовала – есть у нее с матерью что-то общее, что отделяет их обеих от отца и мальчиков, но мама всегда занята, всегда такая прямая, непреклонная – не подступишься. Кивнет рассеянно, ловко повернется от плиты к столу, колыхнув длинной сборчатой юбкой, и опять работает, работает, работает.

И никто из детей, кроме Фрэнка, не понимал, что в матери живет непреходящая, неисцелимая усталость. Так много надо сделать, и ни на что нет денег, и не хватает времени, и на все про все только одна пара рук. Хоть бы уж Мэгги подросла и стала помощницей; малышка и сейчас делает что попроще и полегче, но ей всего-то четыре, на ее плечи много не переложить. Шестеро детей – и только одна девочка, да притом самая младшая. Все знакомые и сочувствуют матери такого семейства, и завидуют, но работы от этого меньше не становится. В рабочей корзинке накопилась гора нештопанных носков, и на спицах еще новый носок, nedovязанный, и Хьюги уже вырастает из своих свитеров, а Джек еще не настолько вырос, чтобы отдать ему свой.

По чистой случайности неделю, на которую приходился день рождения Мэгги, Падрик Клири проводил дома. Время стрижки овец еще не настало, и он ходил работать по соседям – пахал и сеял. Сам он был стригаль – занятие сезонное, длится с середины лета и до конца зимы, а потом наступает время окота. Обычно Клири ухитрялся найти достаточно работы, чтобы продержаться с семьей весну и первый месяц лета: помогал принимать ягнят, пахал землю или подменял хозяина какой-нибудь молочной фермы, который не поспевал дважды в день подоить всех коров. Где найдется работа, туда он и шел, предоставляя семье в большом старом доме справляться своими силами; и не так уж это жестоко. Если ты не из тех счастливчиков, у кого есть своя земля, ничего другого не остается.

Когда он в этот день вскоре после захода солнца вернулся домой, лампы были уже

зажжены и на высоком потолке плясали тени. Мальчики – все, кроме Фрэнка, – собрались на заднем крыльце, играли с какой-то лягушкой; Падрик сразу понял, где Фрэнк: от поленницы доносилось размеренное туканье топора. Падрик прошел через широкое крыльцо, почти не задерживаясь, только дал пинка Джеку да дернул за ухо Боба.

– Подите помогите Фрэнку с дровами, бездельники. Да поживей, пока мама не позвала ужинать, не то всем попадет.

Он кивнул Фионе, которая хлопотала у плиты; не обнял ее, не поцеловал, полагая, что всякие проявления нежных чувств между мужем и женой уместны только в спальне. Пока он стаскивал облепленные засохшей грязью башмаки, подбежала вприпрыжку Мэгги с его домашними шлепанцами, и Падрик широко улыбнулся ей; как всегда, при виде малышки в нем всколыхнулось непонятное удивление. Она такая хорошенькая, такие у нее красивые волосы; он подцепил один локон, вытянул и снова отпустил – забавно смотреть, как длинная прядь опять свернется пружинкой и отскочит на место. Потом подхватил дочку на руки, подошел к очагу, подле которого стояло единственное в кухне удобное кресло – деревянное, с резной спинкой и привязанной к сиденью подушкой. Негромко вздохнул, сел, достал свою трубку, пепел небрежно вытряхнул прямо на пол. Мэгги уютно свернулась у отца на коленях, обвила руками его шею и подняла к нему прохладную свежую рожицу – то была ее обычная вечерняя игра: смотреть, как сквозь его короткую рыжую бороду просвечивает огонь.

– Ну, как ты, Фиа? – спросил жену Падрик Клири.

– Все хорошо, Пэдди. Кончил ты сегодня с нижним участком?

– Да, все закончил. Завтра с утра пораньше примусь за верхний. Ох, и устал же я!

– Еще бы. Макферсон опять дал тебе эту норовистую кобылу?

– Ясное дело. Неужто, по-твоему, он станет маяться с этой животиной сам, а мне даст чалого? Плечи ломит, сил нет. Бьюсь об заклад, другой такой упрямой скотины во всей Новой Зеландии не сыщешь.

– Ну, ничего. У старика Робертсона все лошади хорошие, а ты уже скоро перейдешь к нему.

– Поскорей бы. – Падрик набил трубку дешевым табаком, притянул к себе фитиль, торчащий из жестянки подле плиты. На миг сунул фитиль в открытую дверцу топки, и он занялся; Падрик откинулся на спинку кресла, затянулся так глубоко, что в трубке даже как-то забулькало. – Ну как, Мэгги, рада, что тебе уже четыре года? – спросил он дочь.

– Очень рада, пап.

– Мама уже отдала тебе подарок?

– Ой, пап, как вы с мамой догадались, что мне хочется Агнес?

– Агнес? – Он с улыбкой быстро глянул на жену, озадаченно поднял брови. – Стало быть, ее звать Агнес?

– Да. Она красивая, папочка. Я бы целый день на нее смотрела.

– Счастье, что еще есть на что смотреть, – хмуро сказала Фиа. – Джек с Хьюги сразу ухватили эту куклу, бедняга Мэгги и разглядеть ее толком не успела.

– Ну, на то они мальчишки. Сильно они ее испортили?

– Все поправимо. Фрэнк им вовремя помешал.

– Фрэнк? А что он там делал? Он должен был весь день работать в кузне. Хантер торопит с воротами.

– Фрэнк и работал весь день. Он только приходил за каким-то инструментом, – поспешно сказала Фиа: Падрик всегда был слишком строг с Фрэнком.

– Ой, папочка. Фрэнк мой самый лучший брат! Он спас мою Агнес от смерти, и после ужина он опять приклеит ей волосы.

– Вот и хорошо, – сонно промолвил отец, откинувшись на спинку кресла и закрыл глаза.

От очага несло жаром, но он этого словно не замечал; на лбу его заблестели капли пота. Он заложил руки за голову и задремал.

От него-то, от Падрика Клири, его дети и унаследовали густые рыжие кудри разных оттенков, хотя ни у кого из них волосы не были такими вызывающе медно-красными. Падрик был мал ростом, но необыкновенно крепок, весь точно из стальных пружин; ноги кривые от того, что он сызмальства ездил верхом, руки словно стали длиннее от того, что долгие годы он стриг овец; и руки, и грудь – в курчавой золотистой поросли, будь она черной, это бы выглядело безобразно. Ярко-голубые глаза, привыкшие смотреть вдаль, всегда прищурены, точно у моряка, а лицо славное, улыбчивое и с юмором, эта неизменная готовность улыбнуться сразу привлекала к нему людей. И притом великолепный, истинно римский нос, который должен был приводить в недоумение сородичей Падрика, а впрочем, у берегов Ирландии во все времена разбивалось немало чужестранных кораблей. Речь его еще сохранила мягкость и торопливую невнятность, присущую голуэйским ирландцам, но почти двадцать лет, прожитых в другом полушарии, наложили на нее свой отпечаток, изменили иные звуки, чуть замедлили темп и придали ей сходство со старыми часами, которые не худо бы завести. Счастливцев, он ухитрялся куда лучше многих справляться со всеми трудами и тяготами своей жизни – и, хотя семью держал в строгости и поблажки никому не давал, все дети, за одним исключением, его обожали. Если в доме не хватало хлеба, он обходился без хлеба; если надо было выбрать – обзавестись чем-то из одежды ему или кому-то из его отпрысков, он обходился без обновы. А это в своем роде куда более веское доказательство любви, чем миллион поцелуев, они-то даются легко. Он был очень вспыльчив и однажды убил человека. Но ему повезло, тот человек был англичанин, а в гавани Дан-Лэри как раз стоял под парами корабль, уходящий в Новую Зеландию...

Фиона выглянула из дверей кухни и позвала:

– Ужинать!

Один за другим явились сыновья, последним – Фрэнк с большой охапкой дров, он свалил их в ящик у плиты. Падрик спустил Мэгги с колен, прошел в дальний конец кухни и занял место во главе грубо сколоченного обеденного стола, мальчики расселись по сторонам, а Мэгги вскарабкалась на деревянный ящик, который отец поставил для нее на стуле подле себя.

Фиона раскладывала еду по тарелкам прямо на столе, за которым стряпала, и делала это быстрее и сноровистее любого официанта; она подавала по две тарелки сразу: сначала мужу, потом Фрэнку, дальше мальчикам по старшинству, наконец, Мэгги и последней взяла себе.

– У-у! Студень! – скривился Стюарт, берясь за вилку. – Зачем вы меня называли вроде этой еды?..

– Знай ешь, – оборвал отец. Большие тарелки полны были доверху: к студню – щедрые порции вареного картофеля, баранина, бобы только сегодня с огорода. Хотя кое-кто и фыркал, и ворчал себе под нос, ребята, включая Стюарта, уплели все дочиста да еще вытерли тарелки хлебом и получили в придачу по несколько ломтей хлеба с маслом и с джемом из своего крыжовника. Фиона под села к общему столу, наскоро поела сама, снова поспешила к кухонному столу и разложила по глубоким тарелкам изрядные куски пудинга, очень сладкого и насквозь пропитанного джемом. Все это было тут же залито потоками еще дымящегося

заварного крема, и опять она принялась сновать от рабочего стола к обеденному, разнося по две тарелки сразу. И наконец со вздохом села: теперь можно спокойно поесть самой.

– Ой, как вкусно! Джем с кремом! – восторженно закричала Мэгги и стала чертить по лакомству ложкой, так что скоро сквозь желтый крем проступили розовые разводы.

– Да, Мэгги, дочка, ведь сегодня твое рождение, вот мама и приготовила твой любимый пудинг, – с улыбкой сказал отец.

На этот раз никто не ворчал и не жаловался – какой бы ни был пудинг, его уплетали за обе щеки: в семействе Клири все были сластены.

Но хотя они и ели так обильно и сытно, никто не толстел. Не приобреталось ни грамма лишнего веса – все расходовалось в работе либо в игре. Овощи и фрукты съедались потому, что это вкусно, но, если бы не хлеб и картофель, не мясо и горячие мучные пудинги, неоткуда было бы взять силы.

А потом Фиа налила всем чаю из огромного чайника, и еще около часу семья не расходилась: пили чай, читали, разговаривали; Пэдди, попыхивая трубкой, увлеченно читал какую-то книгу, взятую в библиотеке. Боб с головой ушел в другую. Фиа опять и опять подливала всем чаю, младшие строили планы на завтра. Занятия в школе кончились, впереди долгие летние каникулы, мальчики почуяли свободу, и им уже не терпелось приняться за свою долю работы по дому и в огороде. Бобу поручено подкрасить, где надо, стены снаружи; Джеку и Хьюги – держать в порядке поленницу, надворные постройки, помогать с дойкой, Стюарту – пропалывать грядки; по сравнению с ужасами школы все это просто детская игра. Отец порой поднимал голову от книги и подбавлял к списку еще какое-нибудь дело, но Фиа молчала; Фрэнк устало обмяк на стуле и прихлебывал чай, одну чашку за другой.

Наконец Фиа поманила к себе Мэгги и, когда та взобралась на высокую табуретку, перевязала ей на ночь волосы лоскутками и отправила ее, Стюарта и Хьюги спать; Джек с Бобом упростили дать им еще немного времени и вышли во двор кормить собак; Фрэнк взял с кухонного стола сестрину куклу и стал приклеивать на место волосы. Падрик потянулся, закрыл книгу и положил трубку в большую, отливающую всеми цветами радуги раковину пауа, которая служила ему пепельницей.

– Ну, мать, я пойду лягу.

– Спокойной ночи, Пэдди.

Фиа убрала все с обеденного стола, потом сняла с крюка на стене оцинкованную лохань. Поставила ее напротив Фрэнка, на другом конце кухонного стола, налила горячей воды из тяжелого чугуна, что стоял на огне. От лохани повалил пар, и Фиа подбавила холодной воды из старой жестянки из-под керосина, взяла с проволочной сетки мыло, взбила пену и принялась за посуду: мыла, споласкивала, ставила тарелки ребром.

Фрэнк, не поднимая головы, трудился над куклой, но когда на столе выросла груда вымытых тарелок, он молча встал, взял полотенце и принялся их вытирать. Опять и опять он переходил от кухонного стола к посудному шкафу, чувствовалась давняя привычка и сноровка. То была для них с матерью тайная и небезопасная игра, ибо одним из строжайших правил, установленных в семье властью Пэдди, было четкое распределение обязанностей. Работа по дому – женское дело, и все тут. Никто из мужчин, большой или малый, не должен ничего такого касаться. Но каждый вечер, когда Пэдди отправлялся спать, Фрэнк помогал матери, а Фиа, как настоящая сообщница, нарочно откладывала мытье посуды напоследок, пока не услышит, как в спальне тяжело шлепнутся на пол сброшенные мужем домашние туфли. Раз уж Пэдди их скинул, больше он в кухню не придет.

Фиа ласково посмотрела на сына:

– Не знаю, что бы я без тебя делала, Фрэнк. Только напрасно ты это. Ведь совсем не отдохнешь до утра.

– Пустяки, мам. Невелик труд вытереть тарелки, не помру. А тебе хоть немножко да легче.

– Это моя работа, Фрэнк. Я не жалуюсь.

– Хотя бы нам когда-нибудь разбогатеть, наняла бы ты себе подмогу.

– Вот уж пустые мечты! – Фиа вытерла кухонным полотенцем мыльные распаренные руки и взялась за поясницу, устало перевела дух. Со смутной тревогой посмотрела на сына – всякий рабочий человек недоволен своей долей, но во Фрэнке уж слишком кипит горькая обида на судьбу. – Не заносись, Фрэнк, не воображай о себе лишнего. Такие мысли не доводят до добра. Мы простые люди, труженики, а значит, никогда не разбогатеем и никакой прислуги в подмогу не заведем. Будь доволен тем, что ты есть и что имеешь. Когда ты так говоришь, это оскорбительно для папы, а он такого не заслуживает. Ты и сам знаешь. Он не пьет, не играет, он ради нас работает как каторжный. Ни гроша заработанного не тратит на себя. Все – для нас.

Сын нетерпеливо передернул крепкими плечами, хмурое лицо стало еще мрачнее и жестче.

– Да что в этом плохого – хотеть от жизни еще чего-то, чтоб не только весь век гнуть спину? Я хочу, чтоб у тебя была в хозяйстве подмога – не понимаю, что тут худого.

– Худо, потому что невозможно! Ты же знаешь, у нас нет денег и нельзя тебе учиться дальше, кончить школу, так чем еще ты сможешь заниматься, если не черной работой? По тому, как ты говоришь, как одет, по твоим рукам сразу видно, что ты просто рабочий человек. Но мозолистые руки не позор. Знаешь, как говорит папа: у кого руки в мозолях, тот человек честный.

Фрэнк молча пожал плечами. Посуду всю убрали; Фиа достала корзинку с шитьем и села в кресло Пэдди у огня, Фрэнк опять склонился над куклой.

– Бедняжка Мэгги! – сказал он вдруг.

– Почему это?

– Да вот сегодня наши сорвиголовы расправлялись с ее куклой, а она только стоит и плачет, будто весь мир рушится. – Он посмотрел на куклу, волосы снова были на месте. – Агнес! И откуда она такое имя выкопала?

– Наверное, слышала, как я говорила про Агнес Фотискью-Смит.

– Я ей тогда отдал куклу, а она заглянула в куклину голову и чуть не померла со страху. Глаз куклиных испугалась, уж не знаю почему.

– Ей всегда чудится то, чего на самом деле нет.

– Жаль, не хватает денег, надо бы малышам подольше учиться в школе. Они у нас такие смышленные.

– Ох, Фрэнк! Знаешь, если бы да кабы... – устало сказала мать. Провела рукой по глазам, одолевая дрожь, и воткнула иглу в клубок серой шерсти. – Не могу больше. Совсем вымоталась, уже и не вижу толком.

– Иди спать, мам. Я погашу лампы.

– Мне еще надо подбросить дров в печь.

– Я подброшу.

Он встал из-за стола, осторожно уложил изящную фарфоровую куклу на посудный шкаф,

за противень, подальше от греха. Впрочем, не стоило беспокоиться, что мальчишки опять на нее покусятся – расправы Фрэнка они боялись больше, чем отцовской кары, потому что крылась в нем какая-то злость. Она никогда не проявлялась при матери и сестре, но всем братьям случалось испытать ее на себе.

Фиа смотрела на сына, и сердце ее сжималось: есть во Фрэнке что-то неистовое, отчаянное, что-то в нем предвещает беду. Хоть бы он и Пэдди лучше ладили друг с другом! Но вечно между ними споры и раздоры. Быть может, Фрэнк уж чересчур о ней заботится, может быть, уж слишком к ней привязан. Если так, она сама виновата. Но ведь это значит, что он добрый, любящее сердце. Он только хочет, чтобы ей жилось хоть немного легче. И опять она с тоской подумала: «Скорее бы подросла Мэгги, сняла бы с плеч Фрэнка эту заботу».

Фиа взяла со стола маленькую лампу, тотчас опять поставила и пошла через кухню к Фрэнку – он сидел на корточках перед очагом, укладывал дрова на завтра, орудовал заслонкой. На белой коже выше локтей вздувались вены, в руки прекрасной формы, в длинные пальцы въелась уже навеки несмываемая грязь. Мать несмело протянула руку, осторожно, едва касаясь, отвела со лба сына и пригладила прямые черные волосы; трудно было бы ждать от нее ласки нежнее.

– Спокойной ночи, Фрэнк, спасибо тебе.

Выйдя из кухни, Фиа неслышно пошла по дому, и от ее лампы по стенам кружили и метались тени.

Первая спальня отведена была Фрэнку с Бобом; мать бесшумно отворила дверь, подняла повыше лампу, свет упал на широкую кровать в углу. Боб лежал на спине, с открытым ртом, и весь вздрагивал, подергивался, как спящая собака; Фиа подошла, повернула его на правый бок, пока им еще не окончательно завладел дурной сон, и постояла минуту-другую, глядя на него. Вылитый отец!

В соседней комнате Хьюги и Джек будто в один узел связались, не разберешь, кто где. Несносные мальчишки! Озорники ужасные, но ничуть не злые. Напрасно она пыталась отодвинуть их друг от дружки, хоть как-то расправить одеяло и простыню – две курчавые рыжие головы упрямо прижимались одна к другой. Фиа тихонько вздохнула и сдалась. Непостижимо, как они умудряются вскакивать по утрам свеженькими после такого сна, но им это, видно, только на пользу.

Комнатка, где спали Мэгги и Стюарт, была унылая, безрадостная, совсем не для таких малышей: стены выкрашены тусклой коричневой краской, на полу коричневый линолеум, на стенах ни одной картинки. В точности как в других спальнях.

Стюарт перевернулся в кровати так, что только обтянутая ночной рубашкой попка торчала наружу, там, где должна бы лежать голова; весь, по обыкновению, скорчился, лоб прижат к коленкам, непонятно, как он только не задохнется. Фиа тихонько просунула руку, тронула простыню и нахмурилась. Опять мокро! Что ж, с этим придется подождать до утра, а тогда, конечно, и подушка тоже будет мокрая. Он всегда так, перевернется и потом опять обмочится. Что ж, на пятерых мальчишек только один такой – еще не страшно.

Мэгги свернулась клубочком, большой палец во рту, волосы, все в лоскутных бантиках, разметались. Единственная дочка. Фиа мельком посмотрела на нее и повернулась к двери; в Мэгги нет ничего таинственного, она всего лишь девочка. Известно заранее, какая ее ждет участь, не стоит ни завидовать, ни жалеть. Мальчики – другое дело, каждый – чудо, мужчина, в силу некоей алхимии возникший из ее женского естества. Нелегко это, когда некому

помочь тебе по дому, но мальчики того стоят. В своем кругу Падрика Клири уважают больше всего из-за сыновей. Есть у человека сыновья – значит, он воистину настоящий человек и настоящий мужчина.

Она тихо затворила дверь своей спальни и поставила лампу на комод. Проворные пальцы легко пробежали сверху вниз по десяткам крохотных пуговиц, от высокого ворота до самых бедер, стянули рукав, другой. Высвободив руки, она старательно прижала лиф платья к груди и, вся изгибаясь, изворачиваясь, облачилась в длинную, до пят, фланелевую ночную рубашку. Только тогда, благопристойно укрытая, она окончательно сбросила платье, панталоны и нетуго зашнурованный корсет. Рассыпались по плечам скрученные днем в тугий узел золотистые волосы, шпильки улеглись в раковину пауа на комод. Но и этим прекрасным, густым, блестящим, прямым, как лучи, волосам не дано было свободы – Фиа закинула руки за голову и принялась проворно заплетать косу. Потом, бессознательно затаив дыхание, обернулась к постели; но Пэдди уже спал, и у нее вырвался вздох облегчения. Не то чтобы ей бывало неприятно, когда Пэдди в настроении, – как любовник он и робок, и нежен, и внимателен. Но пока Мэгги не стала постарше года на три, было бы слишком тяжело завести еще малышей.

## 2

По воскресеньям семейство Клири отправлялось в церковь, только Мэгги должна была сидеть дома с кем-нибудь из старших мальчиков, и она с нетерпением ждала того дня, когда подрастет и ее тоже станут брать в церковь. Падрик Клири полагал, что маленьким детям нечего делать в чужом доме, пусть даже и в доме Божиим. Поступит Мэгги в школу, научится сидеть тихо – тогда можно будет ее и в церковь пустить. Но не раньше. И вот каждое воскресное утро она стояла у калитки, под кустом утесника, и горестно смотрела, как все семейство усаживается в дряхлую колымагу, а тот из братьев, кому поручено присматривать за ней, Мэгги, прикидывается, будто ему одно удовольствие пропустить мессу. Из всех Клири только Фрэнк и вправду наслаждался, когда мог побыть подальше от остальных.

Религия занимала в жизни Пэдди совсем особое место. К его женитьбе католическая церковь отнеслась не слишком одобрительно, потому что Фиа была протестанткой; ради Пэдди она оставила свою веру, но не перешла в мужнину. Трудно сказать почему, быть может, дело в том, что сама она была из Армстронгов, старинного рода первопоселенцев, издавна неукоснительно исповедовавших англиканскую веру, Пэдди же только-только приехал из Ирландии, да притом не из английской ее части, и за душой ни гроша. Армстронги жили в Новой Зеландии задолго до прибытия первых официальных «колонистов» и потому принадлежали к местной аристократии. С их точки зрения замужество Фионы было не что иное, как постыдный «mesalliance»<sup>[1]</sup>.

Основателем новозеландского клана был Родерик Армстронг, и основал он его прелюбопытным образом.

Все началось событием, которое отозвалось в Англии восемнадцатого века множеством непредвиденных последствий: американской войной за независимость. До 1776 года британские корабли ежегодно переправляли в Виргинию и Северную и Южную Каролину свыше тысячи мелких преступников, проданных по контракту на долгосрочные работы, что, по сути, было ничуть не лучше рабства. Британское правосудие тех времен было сурово

и непреклонно: убийцы, поджигатели, загадочные преступники, туманно именуемые «виновные в ложном цыганстве», и воры, укравшие на сумму свыше шиллинга, карались смертью на виселице. Виновного в преступлениях помельче ждала пожизненная ссылка в Америку.

Но с 1776 года доступ в Америку был закрыт, и перед Англией встала нелегкая задача: число осужденных день ото дня множится, а девать их некуда. Все узилища переполнены, «излишки» набиты битком в плавучие тюрьмы, гниющие на якорях в устьях рек. Надо было что-то предпринять – ну и предприняли. С великой неохотой, ибо пришлось потратить на это несколько тысяч фунтов, капитану Артуру Филипу велено было отплыть к Великой Южной Земле. Шел 1787 год. На одиннадцати судах капитана Филипа отправились в путь свыше тысячи осужденных да еще матросы, офицеры и отряд морской пехоты. То отнюдь не было овеянное славой странствие в поисках свободы. В конце января 1788 года, через восемь месяцев после отплытия из Англии, флот прибыл в залив Ботани-Бей. Его Сумасшедшее Величество Георг Третий основал новую свалку для своих каторжников – колонию Новый Южный Уэльс.

В 1801 году, когда ему только-только минуло двадцать, Родерик Армстронг был приговорен к пожизненной ссылке. Последующие поколения Армстронгов уверяли, будто он был из сомерсетских дворян, начисто разоренных американской революцией, и ни в каком преступлении не повинен, однако никто никогда всерьез не пытался проверить родословную знаменитого предка. Они лишь грелись в отраженных лучах его славы и кое-что присочиняли от себя.

Каковы бы ни были его происхождение и положение в Англии, молодой Родерик Армстронг был сущий дьявол. За восемь месяцев невыразимо тяжелого плавания к Новому Южному Уэльсу он обнаружил крайнее упрямство и несговорчивость и нипочем не поддавался смерти, что еще возвысило его в глазах корабельного начальства. Прибыв в 1803 году в Сидней, он повел себя и того несноснее, и его отправили на остров Норфолк, в тюрьму для неисправимых. С ним невозможно было сладить. Его морили голодом; бросили в карцер – тесный каменный мешок, где ни стать, ни сесть, ни лечь; стегали бичами так, что вся спина превращалась в кровавое месиво; приковали цепями к скале в море – пускай захлебывается. А он смеялся в лицо палачам – жалкий скелет, обтянутый прозрачной кожей и еле прикрытый грязным тряпьем, во рту у него не уцелело ни одного зуба, тело сплошь в рубцах и шрамах, но весь он был – вызов, ненависть, и, казалось, ничем это пламя не угасить. Каждый свой день он начинал с того, что приказывал себе не умирать – и кончал торжествующим смехом оттого, что все еще жив.

В 1810 году его с партией кандалников отправили на Ван-Дименову Землю пробивать дорогу в твердом, как железо, песчанике в пустыне за Хобартом. Улучив минуту, Родерик своей киркой пробил дыру в груди начальника конвоя; он и еще десять каторжников разделались с пятью остальными конвоирами, медленно, по ломтику, срезая у них мясо с костей – все пятеро изошли криком и умерли в страшных мучениях. Ведь и ссыльные, и их стражи были уже не люди, а сущее зверье, дикари, в чьих чувствах не осталось ничего человеческого. Родерик Армстронг просто не мог удариться в бег, оставив своих мучителей на свободе или предав скорой смерти, так же как не мог он примириться с участью каторжника.

Поддерживая силы ромом, хлебом и вяленым мясом, что нашлось у убитых солдат, одиннадцать беглецов под ледяным дождем одолели долгие мили лесной чащи и вышли к

гавани китобоев – Хобарту; здесь они украли баркас и без парусов, без воды и пищи решили пересечь Тасманово море. Когда баркас вынесло на дикий западный берег Южного острова Новой Зеландии, на борту оставались в живых только Родерик Армстронг и еще двое. Он никогда не рассказывал об этом невообразимом плавании, но люди перешептывались, будто эти трое потому и выжили, что убили и съели своих более слабых спутников.

Было все это ровно через девять лет после высылки Родерика Армстронга из Англии. Он был еще молод, но выглядел на все шестьдесят. К 1840 году, когда в Новой Зеландии появились первые поселенцы, чей приезд был официально разрешен, Армстронг уже отхватил отличные земли в округе Кентербери на Южном острове, взял себе «жену» из племени маори и стал отцом тринадцати красавцев отпрысков, наполовину полинезийцев. А к 1860 году Армстронги уже принадлежали к новозеландской аристократии, сыновей отправляли в Англию в самые привилегированные учебные заведения и хитроумием и стяжательством пренаглядно подтвердили, что они и впрямь потомки личности незаурядной и опасной. Внук Родерика Джеймс в 1880 году стал отцом Фионы – единственной дочери среди его пятнадцати детей.

Если Фионе и недоставало суровых протестантских обрядов, к которым она привыкла в детстве, она ни разу ни словом об этом не обмолвилась. Она вполне терпимо относилась к вере мужа, по воскресеньям ходила с ним слушать мессу, следила за тем, чтобы дети росли католиками. Но сама в католическую веру так и не обратилась, а потому каких-то оттенков не хватало: не читались молитвы перед едой и перед сном, будни не были проникнуты благочестием.

Если не считать единственной поездки в Уэхайн полтора года назад, Мэгги никогда еще не отходила от дома дальше коровника и кузницы в овражке. Утром первого школьного дня она так разволновалась, что после завтрака ее стошнило – пришлось поскорее отнести ее в спальню, вымыть и переодеть. Прощай, чудесная новенькая синяя матроска с широким белым воротником, пришлось опять влезть в противное платье из коричневой фланели с таким тесным высоким воротом на пуговицах, что Мэгги всегда казалось: вот-вот он ее задушит.

– И ради Бога, Мэгги, в другой раз, когда тебя затошнит, скажи сразу! Не сиди и не жди, пока будет поздно и мне, ко всему, придется еще прибирать и чистить за тобой. А теперь поторапливайся, если опоздаешь к звонку, сестра Агата уж наверно тебя побьет. Веди себя хорошо и слушайся братьев.

Когда Фиа наконец уложила в старую школьную сумку завтрак Мэгги – хлеб с джемом – и легонько вытолкала ее за дверь, Боб, Джек, Хьюги и Стюарт уже подпрыгивали у ворот от нетерпения.

– Пошли, Мэгги, опаздываем! – крикнул Боб, и они зашагали по дороге.

Мэгги, еле поспевая, кинулась за братьями.

Было рано, начало восьмого, а утреннее солнце давно уже пригревало; только в самых тенистых местах на траве еще не высохла роса. На Уэхайн вела проселочная дорога, две глубокие колеи – полосы темно-красной глины – разделяла широкая лента ярко-зеленой травы. А по обе стороны в высокой траве цвели во множестве белые лилии, каллы и оранжевые настурции, и аккуратные дощатые заборы предупреждали, что посторонним сюда доступа нет.

Боб всегда шел в школу, точно канатоходец, по верху заборов с правой стороны и

кожаную сумку с книгами при этом нес не через плечо, а на голове. Левые заборы принадлежали Джеку, и младшим Клири досталась сама дорога. Из овражка, где стояла кузница, они взобрались по высокому, крутому косоугору, где Робертсонова дорога соединялась с Уэхайнской, и приостановились перевести дух; пять ярко-рыжих голов вспыхнули на фоне голубого неба в пушистых белых облачках. Теперь – лучшая часть пути, под гору; они взялись за руки и пустились вприпрыжку с вершины холма, она быстро скрылась позади, в зарослях цветов... Жаль, некогда прокрасться под забором мистера Чепмена и скатиться до самого низа, будто пущенные с горы камни.

От дома Клири до Уэхайна было пять миль, и когда Мэгги увидела вдаль телеграфные столбы, у нее дрожали коленки и совсем сползли носки. Прислушиваясь – не звонит ли уже школьный колокол, Боб нетерпеливо поглядывал на сестренку – еле тащится, порой поддвигает штанишки и тяжело вздыхает. Розовое лицо ее в рамке густых локонов как-то странно побледнело. Боб вздохнул, сунул сумку с книгами Джеку и вытер ладони о штаны.

– Поди сюда, Мэгги, я тебя дотащу на закорках, – проворчал он и свирепо глянул на братьев – пусть не воображают, будто он разнюнился из-за девчонки.

Мэгги вскарабкалась ему на спину, подтянулась повыше, обхватила его ногами, блаженно прислонилась головой к костлявому плечу брата. Теперь можно с удобством поглядеть на Уэхайн.

Смотреть-то было не на что. Уэхайн, беспорядочно раскинувшийся по обе стороны дороги с полосой гудрона посередине, в сущности, был просто большой деревней. Самым большим домом тут была гостиница – двухэтажная, с навесом от солнца – он тянулся над дорожкой, ведущей к крыльцу, и дальше, на столбах, вдоль сточной канавы. Следующим по величине был универсальный магазин, он тоже мог похвастать навесом для защиты от солнца, да еще под заваленными всякой всячиной витринами стояли две длинные деревянные скамьи, чтобы прохожие могли передохнуть. Перед зданием муниципалитета красовался флагшток, на ветру полоскался трепаный, линялый государственный флаг. Город еще не обзавелся гаражом, экипажи на бензиновом ходу были наперечет, зато по соседству с муниципалитетом имелаась кузница и за ней – конюшня, а бензоколонка торчала рядом с колодой, из которой поили лошадей. Лишь один-единственный дом – какая-то лавка – и правда бросался в глаза: престранный, ярко-синий, очень неанглийского вида; все остальные выкрашены были в скромный коричневый цвет. Бок о бок стояли англиканская церковь и городская школа, как раз напротив – церковь монастыря Пресвятого Сердца и монастырская школа.

Мальчики Клири поспешно миновали универсальный магазин, и тут зазвонил колокол монастырской школы, и тотчас отозвался звоном погуще колокол на столбе перед городской школой напротив. Боб пустился рысцей, и они вбежали в посыпанный песком двор, там с полсотни детей уже выстраивались в ряд перед монахиней очень маленького роста, у нее в руках была гибкая трость выше ее самой. Не дожидаясь ее распоряжения, Боб отвел своих в сторону от общего строя и остановился, не сводя глаз с трости.

Не сразу можно было заметить, что здание монастыря двухэтажное, потому что стояло оно за оградой, поодаль от дороги, в глубине просторного двора. Четыре монахини ордена милосердных сестер жили в верхнем этаже, одну из них никогда никто не видел – она исполняла должность экономки; три большие комнаты внизу служили классами. По всем четырем сторонам здания снаружи шла широкая крытая веранда, в дождь ученикам разрешалось чинно сидеть здесь во время перемены и завтрака, но в погожие дни никто из

детей не смел сюда сунуться. Несколько ветвистых смоковниц давали кое-какую тень просторному двору перед школой, а позади нее пологий спуск вел к поросшему травой кругу, вежливо именуемому крикетной площадкой, – здесь и правда частенько играли в крикет.

Боб и его братья застыли на месте, не обращая внимания на приглушенные смешки остальных, а те вереницей двинулись в дом под звуки гимна «Вера наших отцов», который брэнчала на плохоньком школьном фортепьяно сестра Кэтрин. Лишь когда вся вереница скрылась в дверях, сестра Агата, все время стоявшая точно суровое изваяние, повернулась и, величественно шурша по песку широчайшим саржевым подолом, прошествовала к детям Клири.

Мэгги уставилась на нее во все глаза – она никогда еще не видела монахини. И правда, необычайное зрелище, живого – только три красных пятна: лицо и руки сестры Агаты, а остальное – ослепительно белый крахмальный чепец и нагрудник, и черным-черны складки необъятного одеяния, да с железной пряжки – кольца, скрепляющего на плотной талии широкий кожаный пояс, свисают тяжелые деревянные четки. Кожа сестры Агаты навек побагровела от чрезмерного пристрастия к чистоте и от острых как бритва краев чепца, стискивающих голову спереди, и то, что даже трудно назвать лицом, словно существовало само по себе, никак не связанное с телом: на двойном подбородке, немилосердно сжатыми тисками того же головного убора, там и сям пучками торчали волосы. А губ вовсе не видно, озабоченно сжаты в жесткую черту – нелегкая задача быть невестой Христовой в такой вот глуши, в далекой колонии, где времена года – и те шиворот-навыворот, если дала монашеский обет полвека назад в тихом аббатстве в милом Килларни, на юге милой Ирландии. Стальная оправа круглых очков безжалостно выдавила на переносье сестры Агаты две ярко-красные отметины, из-за стекол подозрительно высматривали блекло-голубые злые глазки.

– Ну, Роберт Клири, почему вы опоздали? – отрывисто рявкнула сестра Агата, в голосе ее не осталось и следа былой ирландской мягкости.

– Простите, сестра Агата, – без всякого выражения сказал Боб, все еще не сводя голубовато-зеленых глаз с тонкой, подрагивающей в воздухе трости.

– Почему вы опоздали? – повторила монахиня.

– Простите, сестра Агата.

– Начинается новый учебный год, Роберт Клири, и я полагаю, что хотя бы сегодня ты мог постараться прийти вовремя.

Мэгги бросило в дрожь, но она собрала все свое мужество.

– Ой, извините, это все из-за меня! – пропищала она.

Взгляд блеклых голубых глаз передвинулся с Боба на Мэгги и пронизал ее насквозь; в простоте душевной девочка не подозревала, что нарушила первое правило в нескончаемой войне не на жизнь, а на смерть между учителями и учениками: пока тебя не спросят, молчи. Боб поспешно лягнул ее по ноге, и Мэгги растерянно покосилась на него.

– Почему из-за тебя? – спросила монахиня.

Никогда еще с Мэгги не говорили так сурово.

– Ну, меня за столом стошнило, даже до штанишек дошло, и маме пришлось меня вымыть и переодеть, и я всех задержала, – простодушно объяснила Мэгги.

Ничто не дрогнуло в лице сестры Агаты, только рот стал совсем как сжатая до отказа пружина да кончик трости немного опустился.

– Это еще что? – отрывисто спросила она Боба, словно перед ней появилось какое-то

неведомое и до крайности отвратительное насекомое.

– Извините, сестра Агата, это моя сестренка Мэггенн.

– Так объяснишь ей на будущее, Роберт, что есть вещи, о которых воспитанные люди, настоящие леди и джентльмены, никогда не упоминают. Никогда, ни при каких обстоятельствах мы не называем предметы нашей нижней одежды, в приличных семьях детям это правило внушают с колыбели. Протяните руки, вы все.

– Но ведь это из-за меня! – горестно воскликнула Мэгги и протянула руки ладонями вверх – она тысячу раз видела дома, как это изображали братья.

– Молчать! – прошипела, обернувшись к ней, сестра Агата. – Мне совершенно неинтересно, кто из вас виноват. Опоздали все, значит, все заслуживают наказания. Шесть ударов, – с холодным удовлетворением произнесла она приговор.

В ужасе смотрела Мэгги, как Боб протянул недрогнувшие руки и трость так быстро, что не уследить глазами, опять и опять со свистом опускается на раскрытые ладони, на самую чувствительную мякоть. После первого же удара на ладони вспыхнула багровая полоса, следующий удар пришелся под самыми пальцами, там еще больнее, и третий – по кончикам пальцев, тут кожа самая тонкая и нежная, разве что на губах тоньше. Сестра Агата целилась метко. Еще три удара достались другой руке, потом сестра Агата занялась следующим на очереди – Джеком. Боб сильно побледнел, но ни разу не охнул, не шевельнулся, так же вытерпели наказание и Джек, и даже тихий, хрупкий Стюарт.

Потом трость поднялась над ладонями Мэгги – и она невольно закрыла глаза, чтоб не видеть, как опустится это орудие пытки. Но боль была как взрыв, будто огнем прожгло ладонь до самых костей, отдалось выше, выше, дошло до плеча, и тут обрушился новый удар, а третий, по кончикам пальцев, нестерпимой мукой пронзил до самого сердца. Мэгги изо всей силы прикусила нижнюю губу, от стыда и гордости она не могла заплакать, от гнева, от возмущения такой явной несправедливостью не смела открыть глаза и посмотреть на монахиню; урок был усвоен прочно, хотя суть его была отнюдь не в том, чему хотела обучить сестра Агата.

Только к большой перемене боль в руках утихла. Все утро Мэгги провела как в тумане: испуганная, растерянная, она совершенно не понимала, что говорится и делается вокруг. В классе для самых младших ее толкнули на парту в последнем ряду, и до безрадостной перемены, отведенной на завтрак, она даже не заметила, кто ее соседка по парте; в перемену она забилась в дальний угол двора, спряталась за спины Боба и Джека. Только строгий приказ Боба заставил ее приняться за хлеб с джемом, который приготовила ей Фиа.

Когда снова зазвонил колокол на уроки и Мэгги нашла свое место в веренице учеников, туман перед глазами уже немного рассеялся, и она стала замечать окружающее. Обида на позорное наказание ничуть не смягчилась, но Мэгги высоко держала голову и делала вид, будто ее вовсе не касается, что там шепчут девчонки и почему подталкивают друг друга в бок.

Сестра Агата со своей тростью стояла перед рядами учеников; сестра Диклен сновала то вправо, то влево позади них; сестра Кэтрин села за фортепьяно – оно стояло в классе младших, у самой двери, – и в подчеркнуто маршевом ритме заиграла «Вперед, Христово воинство». Это был, в сущности, протестантский гимн, но война сделала его и гимном католиков тоже. Милые детки маршируют под его звуки и впрямь как крохотные солдатики, с гордостью подумала сестра Кэтрин.

Из этих трех монахинь сестра Диклен была точной копией сестры Агаты, только на

пятнадцать лет моложе, но в сестре Кэтрин еще оставалось что-то человеческое. Она, разумеется, была ирландка, всего лишь тридцати лет с хвостиком, и прежний пыл в ней не совсем еще угас; ей все еще радостно было учить детей, и в обращенных к ней восторженных рожицах ей по-прежнему виделось нетленным подобие Христово. Но она вела старший класс, ибо сестра Агата полагала, что старшие уже достаточно биты, чтобы вести себя прилично даже при молодой и мягкосердечной наставнице. Сама сестра Агата обучала младших, дабы по-своему вылепить из младенческой глины послушные умы и сердца, а средние классы были предоставлены сестре Диклен.

Надежно укрывшись в последнем ряду, Мэгги решила посмотреть на соседку по парте. Пугливо покосилась и увидела широкую беззубую улыбку и круглые черные глазищи на смуглом и словно бы чуть лоснящемся лице. Восхитительное лицо – Мэгги-то привыкла к светлой коже и к веснушкам, ведь даже у Фрэнка, черноволосого и черноглазого, кожа совсем белая, и она быстро решила, что ее соседка – самая красивая девочка на свете.

– Как тебя зовут? – краешком губ шепнула смуглая красавица; она грызла карандаш и сплевывала кусочки дерева в дырку, где полагалось бы стоять чернильнице.

– Мэгги Клири, – прошептала в ответ Мэгги.

– Ты, там! – раздался сердитый окрик.

Мэгги подскочила, недоуменно огляделась. Послышались приглушенный стук – все двадцать детей разом отложили карандаши – и негромкий шорох отодвигаемых в сторонку драгоценных листков бумаги, чтобы можно было потихоньку облокотиться на парту. У Мэгги душа ушла в пятки – все смотрят на нее! По проходу между партами быстрым шагом приближалась сестра Агата; Мэгги охватил несказанный ужас; если б было куда, она бросилась бы бежать со всех ног. Но позади – перегородка, за которой помещается средний класс, по обе стороны – тесные ряды парт, а впереди сестра Агата. Мэгги побледнела, задыхнулась от страха, руки ее на крышке парты то сжимались, то разжимались, она подняла на монахиню огромные, в пол-лица, перепуганные глаза.

– Ты разговаривала, Мэггенн Клири.

– Да, сестра Агата.

– Что же ты сказала?

– Как меня зовут, сестра Агата.

– Как тебя зовут! – язвительно повторила сестра Агата и обвела взглядом других детей, будто уверенная, что и они разделяют ее презрение. – Не правда ли, дети, какая честь для нас? В нашей школе появилась еще одна Клири, и ей не терпится всем сообщить, как ее зовут. – Она опять повернулась к Мэгги. – Встань, когда я с тобой говорю, невежа! Изволь протянуть руки.

Мэгги кое-как поднялась, длинные локоны упали на лицо и опять отскочили. Она отчаянно стиснула руки и все сжимала их, но сестра Агата истуканом стояла над ней и ждала, ждала, ждала... Наконец Мэгги заставила себя протянуть руки, но под взмахом трости задыхнулась от ужаса и отдернула их. Сестра Агата вцепилась в густые волосы у Мэгги на макушке и подтащила ее к себе, лицом чуть не вплотную к страшным очкам.

– Протяни руки, Мэггенн Клири.

Это было сказано вежливо, холодно, беспощадно.

Мэгги раскрыла рот, и ее стошнило прямо на одеяние сестры Агаты. Все дети, сколько их было в классе, испуганно ахнули, а сестра Агата стояла багровая от ярости и изумления, и отвратительная жидкость стекала по складкам черной ткани на пол. И вот трость пошла

лупить Мэгги по чему попало, а девочка скорчилась в углу, вскинув руки, закрывая лицо, и ее все еще тошнило. Наконец сестра Агата выбилась из сил, рука отказывалась поднять трость, и тогда она показала на дверь.

– Иди домой, маленькая дрянь, филистимлянка, – сказала она, круто повернулась и ушла в класс сестры Диклен.

Вне себя от боли и ужаса, Мэгги оглянулась на Стюарта; он кивнул – мол, уходи, раз тебе велено, в добрых зеленоватых глазах его были жалость и понимание. Мэгги вытерла рот платком, спотыкаясь, побрела к двери и вышла во двор. До конца занятий оставалось еще два часа; она понуро плелась по улице, нечего было надеяться, что братья ее нагонят, и она натерпелась такого страху, что не могла сообразить, где бы их подождать. Придется самой дойти до дому и самой признаться во всем маме.

\* \* \*

Шатаясь, через силу Фиа вытащила на заднее крыльцо корзину, полную только что выстиранного белья, и едва не споткнулась о Мэгги. Девочка сидела на верхней ступеньке, уронив голову в колени, ярко-рыжие локоны на концах слиплись, платье спереди все в пятнах. Фиа опустила непосильную ношу, со вздохом отвела прядь волос, упавшую на глаза.

– Ну, что случилось? – устало спросила она.

– Меня стошнило на сестру Агату.

– О Господи! – Фиа взялась руками за ноющую поясницу.

– И еще меня побили, – прошептала Мэгги, в глазах ее стояли непролитые слезы.

– Весело, что и говорить. – Фиа подняла тяжелую корзину, с трудом выпрямилась. – Ума не приложу, как с тобой быть, Мэгги. Придется подождать, посмотрим, что скажет папа.

И она пошла через двор к веревкам, где уже моталась на ветру половина выстиранного белья.

Мэгги уныло потерла глаза ладонями, посмотрела вслед матери, потом встала и поплелась по тропинке вниз, к кузнице.

Когда она стала на пороге, Фрэнк только что подковал гнедую кобылу мистера Робертсона и заводил ее в стойло. Он обернулся, увидел сестру, и его разом захлестнули воспоминания о всех муках, которых он сам когда-то натерпелся в школе. Мэгги еще совсем малышка, такая пухленькая и такая милая чистая душа, но живой огонек у нее в глазах грубо погасили, и в них затаилось такое... Убить бы за это сестру Агату! Да-да, убить, стиснуть ее двойной подбородок и придушить... Инструменты полетели на пол, кожаный фартук – в сторону, Фрэнк кинулся к сестренке.

– Что случилось, кроха? – спросил он, низко наклонился и заглянул ей в лицо.

От девочки противно пахло рвотой, но он совладал с собой и не отвернулся.

– Ой, ой, Ф-ф-фрэнк! – всхлипнула несчастная Мэгги. Лицо ее скривилось, и, наконец, будто прорвав плотину, хлынули слезы. Она обхватила руками шею Фрэнка, изо всех сил прижалась к нему и заплакала – беззвучно, мучительно зарыдала, так странно плакали все дети Клири, едва выходили из младенческого возраста. На эту боль тяжело смотреть, и тут не поможешь ласковыми словами и поцелуями.

Когда Мэгги затихла, Фрэнк взял ее на руки и отнес на кучу душистого сена возле гнедой кобылы Робертсона; они сидели вдвоем, позабыв обо всем на свете, а мягкие

лошадиные губы подбирали сено совсем рядом; Мэгги прижалась головой к обнаженной гладкой груди брата, и локоны ее разлетались, когда лошадь раздувала ноздри и громко фыркала от удовольствия.

– Почему она побила нас всех, Фрэнк? – спросила Мэгги. – Я ведь ей сказала, что мы все из-за меня опоздали.

Фрэнк уже притерпелся к запаху; протянул руку, рассеянно погладил кобылу по чересчур любопытной морде и легонько оттолкнул ее.

– Мы – бедные, Мэгги, в этом главная причина. Монахини всегда ненавидят бедных учеников. Вот походишь еще денек-другой в эту паршивую школу и сама увидишь: сестра Агата не только к нам, Клири, придирается, и к Маршаллам тоже, и к Макдональдам. Все мы бедные. А были бы богатые, приезжали бы в школу в большой карете, как О’Брайены, так монашки нам бы в ножки кланялись. Но мы ж не можем пожертвовать церкви орган, или шитый золотом покров на алтарь, или новую лошадь и коляску для монахинь. Чего ж на нас глядеть. Как хотят, так с нами и расправляются. Помню, один раз сестра Агата до того на меня озлилась – стала орать: «Да заплачешь ты наконец, Фрэнсис Клири? Закричи, доставь мне такое удовольствие! Взвой хоть раз, и я не стану бить тебя так сильно и так часто!» Вот тебе и еще причина, почему она нас ненавидит, тут Маршаллам и Макдональдам до нас далеко. Из нас, Клири, ей слезы не выбить. Она думает, мы станем лизать ей пятки. Так вот, я ребятам сказал, что я с ними сделаю, если кто из них захнычет, когда его бьют, и ты тоже запомни, Мэгги. Как бы она тебя ни лупила, и пикнуть не смей. Ты сегодня плакала?

– Нет, Фрэнк.

Мэгги зевнула, веки сами закрылись, большой палец потянулся ко рту и не сразу попал куда надо. Фрэнк уложил сестренку на сено и, улыбаясь и тихонько напевая, вернулся к наковальне.

Мэгги еще спала, когда вошел Пэдди. Руки у него были по локоть в грязи – сегодня он убирал навоз на скотном дворе мистера Джермена, – широкополая шляпа нахлобучена до бровей. Он окинул взглядом Фрэнка, тот ковал тележную ось, над головой его вихрем кружились искры; потом Пэдди посмотрел на дочь – она спала, свернувшись клубочком на куче сена, и гнедая кобыла Робертсона свесила голову над спящим ее лицом.

– Так я и думал, что она здесь, – сказал Пэдди, отбросил хлыст для верховой езды и повел свою старуху чалую в глубь сарая, к стойлу.

Фрэнк коротко кивнул, вскинул на отца сумрачный взгляд, в котором Пэдди всегда, к немалой своей досаде, читал какое-то сомнение и неуверенность, и опять занялся раскаленной добела осью; обнаженная спина его блестела от пота.

Пэдди расседлал чалую, завел в стойло, налил ей воды, потом приготовил корм – смешал овса с отрубями и плеснул туда же воды. Чалая тихонько благодарно заржала, когда он наполнил ее кормушку, и проводила его глазами, а Пэдди, на ходу стаскивая с себя рубаху, прошел к большому корыту у входа в кузницу. Вымыл руки, лицо, ополоснулся до пояса, при этом намокли и волосы, и штаны. Растираясь досуха куском старой мешковины, недоуменно посмотрел на сына.

– Мама сказала, Мэгги в школе наказали и отправили домой. Не знаешь толком, что там стряслось?

Фрэнк отложил остывшую ось.

– Бедную дурашку стошнило прямо на сестру Агату.

Пэдди уставился на дальнюю стену, торопливо согнал с лица усмешку и тогда лишь как

ни в чем не бывало кивнул на Мэгги:

– Уж так разволновалась, что поступает в школу, а?

– Не знаю. Ее еще утром стошнило, потому они все задержались и к звонку опоздали. Всем досталось по шесть ударов, и Мэгги ужасно расстроилась – она-то считала, что ее одну должны наказать. А после завтрака сестра Агата опять на нее накинута, и нашу Мэгги вывернуло прямо на ее чистый черный подол.

– И дальше что?

– Сестра Агата чуть трость об нее не обломала и отправила домой.

– Ну, наказана и хватит, подбавлять не стану. Я наших монахинь очень уважаю, и не нам их судить, а только хотел бы я, чтобы они пореже хватались за палку. Оно, конечно, приходится им вбивать науки в наши тупые ирландские головы, но, как ни говори, кроха Мэгги нынче только первый раз пошла в школу.

Фрэнк смотрел на отца во все глаза. Никогда еще Пэдди не говорил со старшим сыном как со взрослым и равным.

От изумления Фрэнк даже позабыл свою вечную обиду: так вот оно что, хоть Пэдди всегда гордится и хвастает сыновьями, но Мэгги он любит еще больше... Во Фрэнке всколыхнулось доброе чувство к отцу, и он улыбнулся без обычного недоверия.

– Она у нас малышка первый сорт, правда?

Пэдди рассеянно кивнул, он все еще не отрываясь смотрел на дочь. Лошадь шумно вздохнула, фыркнула; Мэгги зашевелилась, повернулась и открыла глаза. Увидела рядом с Фрэнком отца, побледнела от испуга и порывисто села.

– Что, Мэгги, дочка, нелегкий у тебя денек выдался?

Пэдди шагнул к ней, подхватил на руки и чуть не ахнул от резкого запаха. Но только дернул плечом и крепче прижал к себе девочку.

– Меня побили, папочка, – призналась она.

– Что ж, насколько я знаю сестру Агату, это не в последний раз, – засмеялся Пэдди и усадил дочь к себе на плечо. – Пойдем-ка поглядим, наверное, у мамы найдется в котле горячая вода, надо тебя вымыть. От тебя пахнет похуже, чем на скотном дворе у Джермена.

Фрэнк вышел на порог и провожал глазами две огненно-рыжие головы, пока они не скрылись за изгибом тропы, ведущей в гору, потом обернулся и встретил кроткий взгляд гнедой кобылы.

– Пошли, старуха, отведу тебя домой, – сказал он и взялся за повод.

Приступ рвоты неожиданно принес Мэгги счастье. Сестра Агата продолжала бить ее тростью по рукам, но держалась теперь на безопасном расстоянии, а от этого удары были не так сильны и далеко не так метки.

Смуглая соседка Мэгги по парте оказалась младшей дочерью итальянца – хозяина ярко-синего кафе в Уэхайне. Звали эту девочку Тереза Аннунцио, и она была туповата – как раз настолько, чтобы не привлекать особого внимания сестры Агаты, но не настолько, чтобы стать для сестры Агаты постоянной мишенью. Когда у Терезы выросли новые зубы, она стала настоящей красавицей, Мэгги ее обожала. Каждую перемену они гуляли по двору, обняв друг друга за талию – а это знак, что вы душевные подруги и никто больше не смеет добиваться вашего расположения. Гуляли и говорили, говорили, говорили.

Однажды на большой перемене Тереза повела Мэгги в отцовское кафе и познакомила со своими родителями, со взрослыми братьями и сестрами. Все они пришли в восторг от этого

золотого огонька, так же как Мэгги восхищалась их смуглой красотой, а когда она посмотрела на них серыми глазами в милых пестрых крапинках, объявили, что она настоящий ангелочек. От матери Мэгги унаследовала какую-то неуловимую аристократичность – все ощущали ее с первого взгляда, ощутило это и семейство Аннунцио. Как и Тереза, они принялись ухаживать за Мэгги, угостили ее хрустящим картофелем, поджаренным в кипящем бараньем сале, и восхитительно вкусной рыбой, без единой косточки, обвалянной в тесте и поджаренной в том же кипящем жиру, только в отдельной проволочной сетке. Мэгги никогда еще не пробовала такой чудесной еды и подумала – хорошо бы тут есть почаще. Но надо еще, чтобы такое удовольствие ей разрешили мать и монахини.

Дома от Мэгги только и слышали: «Тереза сказала», «А знаете, что сделала Тереза?», и наконец Пэдди прикрикнул, что она ему все уши прожужжала своей Терезой.

– Не больно это умно – якшаться с итальяшками, – проворчал он с истинно британским бессознательным недоверием ко всем, у кого темная кожа и кто родом с берегов Средиземного моря. – Итальяшки грязный народ, Мэгги, дочка, они редко моются, – кое-как пояснил он, смешавшись под обиженным и укоризненным взглядом дочери.

Фрэнк, обуреваемый ревностью, поддержал отца. И Мэгги дома стала реже заговаривать о подруге. Но неодобрение домашних не могло помешать этой дружбе, которую расстояние все равно ограничивало стенами школы; а Боб и младшие мальчики только радовались, что сестра поглощена Терезой. Значит, в перемену можно вволю носиться по двору, будто никакой Мэгги тут вовсе и нет.

Непонятные закорючки, которые сестра Агата вечно выводила на классной доске, понемногу обретали смысл, и Мэгги узнала, что когда стоит «+», надо сосчитать все цифры вместе, а когда «–» – от того, что написано сверху, отнять то, что ниже, и под конец получится меньше, чем было. Она была смышленная и стала бы отличной, даже, пожалуй, блестящей ученицей, если б только могла одолеть страх перед сестрой Агатой. Но едва на нее обращались эти сверлящие глаза и сухой старческий голос бросал ей отрывистый вопрос, Мэгги начинала мямлить и заикаться и уже ничего не соображала. Арифметика давалась ей легко, но, когда надо было вслух доказать, как искусно она считает, она забывала, сколько будет дважды два. Чтение распахнуло перед ней двери в чудесный, увлекательнейший мир, но, когда сестра Агата велела ей встать и громко прочитать несколько строк, она еле могла выговорить «кошка» и совсем запуталась на слове «мяучит». Казалось, ей навек суждено ежиться под язвительными замечаниями сестры Агаты, краснеть и сгорать от стыда, потому что над ней смеется весь класс. Ведь это ее грифельную доску сестра Агата с неизменным ехидством выставляет напоказ, ее старательно исписанные листки неизменно приводит в пример грязи и неряшества. Некоторые ученики из богатых были счастливыми обладателями ластиков, но у Мэгги взамен резинки имелся лишь кончик пальца – послунив его, она терла и терла сделанную от волнения ошибку, так что отдирались бумажные катышки и выходила одна грязь. Палец протирали в листке дырки, способ этот строго-настрого запрещался, но Мэгги с отчаяния готова была на все, лишь бы избежать громов и молний сестры Агаты.

До появления Мэгги главной мишенью для трости и злого языка сестры Агаты был Стюарт. Но Мэгги оказалась куда лучшей мишенью, потому что были в Стюарте печальное спокойствие и отрешенность, точно в каком-то маленьком святом, и через это не удавалось пробиться даже сестре Агате. А Мэгги хоть и старалась изо всех сил не уронить достоинство рода Клири, как велел ей Фрэнк, но вся дрожала и заливалась краской. Стюарт очень жалел

ее, старался хотя бы отчасти отвлечь гнев сестры Агаты на себя. Монахиня мигом разгадывала его хитрости и еще сильнее разъярялась от того, как все эти Клири стоят друг за друга, что мальчишки, что девчонки. Спроси ее кто-нибудь, чем, собственно, ее так возмущают дети Клири, она не сумела бы ответить. Но старой монахине, озлобленной и разочарованной тем, как сложилась ее жизнь, не так-то легко было примириться с нравом этого гордого и чуткого племени.

Самым тяжким грехом Мэгги оказалось, что она – левша. Когда она впервые осторожно взялась за грифель на первом своем уроке письма, сестра Агата обрушилась на нее, точно Цезарь на галлов.

– Положи грифель, Мэггенн Клири! – прогремела она.

Так началось великое сражение. Мэгги оказалась безнадежной, неизлечимой левшой. Сестра Агата вкладывала ей в правую руку грифель, насильно сгибала пальцы должным образом, а Мэгги недвижимо сидела над грифельной доской, голова у нее шла кругом, и она, хоть убейте, не могла постичь, как заставить эту злосчастную руку исполнять требования сестры Агаты. Она внутренне деревенела, слепла и глохла; бесполезный придаток – правая рука – так же мало повиновался ее мыслям, как пальцы ног. Рука не слушалась, не сгибалась как надо и тянула корявую строку не по доске, а мимо и, точно парализованная, роняла грифель; и что бы ни делала сестра Агата, эта правая рука не могла вывести букву «А». А потом Мэгги потихоньку перекладывала грифель в левую руку и, неловко заслоня доску локтем, выводила длинный ряд четких, будто отпечатанных прописных «А».

Сестра Агата выиграла сражение. Утром до уроков она стала привязывать левую руку Мэгги к боку и не развязывала до трех часов дня, до последнего звонка. Даже в большую перемену Мэгги приходилось есть свой завтрак, ходить по двору, играть, не шевеля левой рукой. Так продолжалось три месяца, и под конец она научилась писать правой, как того требовали воззрения сестры Агаты, но почерк у нее навсегда остался неважный. Для верности, чтобы она не вспомнила прежнюю привычку, левую руку ей привязывали к боку еще два месяца; а потом сестра Агата собрала учеников на молитву, и вся школа хором возблагодарила Господа, который в премудрости своей направил заблудшую Мэгги на путь истинный. Все чада Господни пользуются правой рукой; левши же – дьяволово семя, тем более если они еще и рыжие.

В тот первый школьный год Мэгги утратила младенческую пухлость и стала очень худенькая, хотя почти не выросла. Она привыкла чуть не до крови обкусывать ногти, и пришлось терпеть, когда сестра Агата в наказание подводила ее с вытянутыми руками к каждой парте и всем и каждому в школе показывала, как безобразны ногти, когда их грызут. А ведь половина ребят от пяти до пятнадцати лет грызла ногти не хуже Мэгги.

Фиа достала пузырек с горьким соком алоэ и намазала этой гадостью кончики пальцев Мэгги. Все в доме обязаны были следить, чтобы она не смыла горький сок, а девочки в школе заметили предательские темные пятна, пришлось вытерпеть и это унижение. Сунешь палец в рот – мерзость жуткая, хуже овечьего мыла; в отчаянии Мэгги смочила слюной носовой платок и терла пальцы чуть не до крови, пока не смягчился немного мерзкий вкус. Пэдди взял хлыст – орудие куда более милосердное, чем трость сестры Агаты, и пришлось Мэгги прыгать по всей кухне. Пэдди считал, что детей не следует бить ни по рукам, ни по лицу, ни по ягодицам, а только по ногам. Больно не меньше, чем в любом другом месте, говорил он, а вреда никакого не будет. И однако, наперекор горькому алоэ, насмешкам, сестре Агате и отцову хлысту, Мэгги продолжала грызть ногти.

Дружба с Терезой была великой радостью в ее жизни; если б не это, школа стала бы невыносимой. Все уроки напролет Мэгги только и ждала, когда же настанет перемена и можно будет, обнявшись, сидеть с Терезой в тени смоковницы и говорить, говорить... Тереза рассказывала про свое удивительное итальянское семейство, и про бесчисленных кукол, и про кукольный сервиз – самый настоящий, в китайском стиле, синий с белым.

Увидев наконец этот сервиз, Мэгги задохнулась от восторга. Тут было сто восемь предметов: крохотные чашки с блюдцами, тарелки, чайник и сахарница, и молочник, и еще ножи, ложки и вилки, малюсенькие, как раз куклам по руке. Терезиным игрушкам счету не было, еще бы: самая младшая, много моложе остальных детей в семье, да притом в семье итальянской, а значит, всеобщая любимица, и отец не жалел денег ей на подарки. Тереза и Мэгги смотрели друг на дружку с какой-то пугливой, почтительной завистью, хотя Тереза вовсе не хотела бы для себя такого сурового кальвинистского воспитания. Напротив, она жалела подругу. Чтобы нельзя было броситься к матери, обнять ее и расцеловать? Бедная Мэгги!

А Мэгги уж никак не могла равнять сияющую добродушием кругленькую Терезину мамашу со своей стройной не улыбочливой матерью, ей и в голову не приходило пожелать: «Вот бы мама меня обняла и поцеловала». Думалось совсем по-другому: «Вот бы Терезина мама обняла меня и поцеловала». Впрочем, объятия и поцелуи рисовались ее воображению куда реже, чем кукольный сервиз в китайском стиле. Такие чудесные вещицы, такие тоненькие, прозрачные, такие красивые! Вот бы иметь такой сервиз и каждый день поить Агнес чаем из темно-синей, с белым, узорчатой чашки на темно-синем, с белым, узорчатым блюдце!

В пятницу, во время службы в старой церкви, украшенной прелестными по наивности маорийскими деревянными скульптурами, с ярко, по-маорийски, расписанными сводами, Мэгги на коленях молила Бога послать ей китайский кукольный сервиз. И вот отец Хейс высоко поднял святые дары, и Дух Святой засиял в цветных стеклах, в лучах из драгоценных камней, и осенил своим благословением склоненные головы прихожан. Всех прихожан, кроме Мэгги; она даже не видела его, слишком была занята: вспоминала, сколько же десертных тарелочек в Терезином сервизе. И когда торжественно запел хор маори на галерее над органом, голову Мэгги кружила ослепительная синь, весьма далекая от католической веры и от Полинезии.

Школьный год подходил к концу, настал декабрь, близился день рождения Мэгги, казалось, вот-вот нагрянет настоящее лето, и тут Мэгги узнала, какой дорогой ценой покупается исполнение заветных желаний. Она сидела на высоком табурете у печки, и Фиа, как обычно, причесывала ее перед школой – задача не из легких. Волосы у Мэгги вились от природы – в этом ей, по мнению матери, очень повезло, девочкам с прямыми волосами не так-то легко, когда вырастут, соорудить пышную прическу из жалких вялых прядей. На ночь длинные, почти до колен, вьющиеся волосы туго наматывались на белые полоски, оторванные от старой простыни, и каждое утро Мэгги надо было вскарабкаться на табурет, чтобы мать развязала эти лоскуты и причесала ее.

Старой серебряной щеткой для волос Фиа расчесывала одну за другой длинные, круто вьющиеся пряди и ловко наматывала на указательный палец, так что получалась толстая блестящая колбаска; тогда, осторожно убрав палец, Фиа встряхивала ее, и получался длинный, на зависть тугий локон. Эту операцию приходилось повторить раз двенадцать, потом спереди локоны поднимались на макушку, перевязывались свежесглаженным бантом из белой тафты – и Мэгги была готова. Другие девочки в школу ходили с косичками, а

локоны у них появлялись только в торжественных случаях, но на этот счет мать была непреклонна: Мэгги должна ходить только с локонами, как ни трудно по утрам урвать на это время. Фиа не подозревала, что столь благие намерения не вели к добру, ведь у дочери и без того были самые красивые волосы во всей школе. А неизменные локоны ее подчеркивали это и вызывали косые завистливые взгляды.

Возня с локонами была не очень-то приятна, но Мэгги привыкла, ее так причесывали, сколько она себя помнила. В сильной руке матери щетка продиралась сквозь спутанные волосы, безжалостно тянула и дергала, даже слезы выступали на глазах, и приходилось держаться за табурет обеими руками, чтобы не упасть. Был понедельник последней школьной недели, и только два дня оставалось до дня рождения; Мэгги цеплялась за табурет и мечтала о бело-синем кукольном сервизе, хотя и знала, что мечта эта несбыточная. Был такой сервиз в уэхайнском магазине, и она уже достаточно разбиралась в ценах, чтобы понимать – ее отцу такое не по карману. Внезапно Фиа так странно охнула, что Мэгги разом очнулась, а муж и сыновья, еще не встававшие из-за стола, удивленно обернулись.

– Боже милостивый! – вырвалось у матери.

Пэдди вскочил, пораженный, никогда еще он не слышал, чтобы Фиа поминала имя Господне всуе. Она застыла со щеткой в руке, с прядью волос дочери в другой, и лицо ее исказилось от ужаса и отвращения. Пэдди и мальчики окружили их обеих; Мэгги хотела было взглянуть, в чем дело, но ее так стукнули щеткой с жесткой щетиной, что на глаза навернулись слезы.

– Смотри! – прошептала мужу Фиа и подняла локон на свет.

В ярком солнечном луче густые волосы засверкали как золото, и Пэдди сначала ничего не разглядел. А потом увидел: по руке Фионы, по тыльной стороне кисти, движется нечто живое. Он перехватил у нее локон и в искрах света разглядел еще немало хлопотливых тварей. Волосы были унизаны крохотными белыми пузырьками, и эти твари деловито нанизывали все новые гроздья. В волосах Мэгги кипела бурная деятельность.

– У нее вши! – сказал Пэдди.

Боб, Джек, Хьюги и Стюарт глянули – и, как отец, отступили на безопасное расстояние; только Фиа и Фрэнк, будто околдованные, стояли и смотрели на волосы Мэгги, а она, бедняга, съежилась на табурете, недоумевая, в чем же она провинилась. Пэдди тяжело опустился в свое кресло и хмуро уставился на огонь очага.

– Это все та итальянская паршивка, – сказал он наконец и свирепо посмотрел на жену. – Ублюдки паршивые, сволочи, грязные свиньи!

– Пэдди! – Фиа задохнулась от возмущения.

– Извини за ругань, жена, но ведь это надо же, чтоб Мэгги завшивела из-за паршивой итальяшки! – взорвался Пэдди и яростно стукнул себя кулаком по колену. – Прямо хоть сейчас пойти в Уэхайн и разнести в щепки их поганое кафе!

– Мам, а что там такое? – выговорила наконец Мэгги.

– Вот, смотри, грязнуля! – сказала мать и сунула руку под нос Мэгги. – Смотри, что ты подхватила от своей подружки, в волосах полно этой гадости. Что мне теперь с тобой делать?

Мэгги в изумлении посмотрела на существо, которое слепо бродило по обнаженной руке Фионы в поисках более волосатой территории, и горько заплакала.

Не дожидаясь, пока ему скажут, Фрэнк поставил на огонь котел с водой, а Пэдди зашагал по кухне из угла в угол, опять и опять он поглядывал на дочь и все сильнее

разъярялся. Наконец подошел к двери заднего крыльца – тут на стене вбиты были в ряд гвозди и крюки, – снял с одного из них хлыст для верховой езды, нахлобучил шляпу.

– Съезжу в Уэхайн, Фиа, скажу этому паршивому итальяшке, пускай со своей жирной рыбой и жареной картошкой катится куда подальше! А потом пойду к сестре Агате, ей тоже кое-что выскажу, надо же, держит в школе вшивых ребятишек!

– Осторожнее, Пэдди! – взмолилась Фиа. – Вдруг итальяночка ни при чем? Даже если у нее есть насекомые, может быть, и она, и Мэгги подхватили их от кого-нибудь еще.

– Чепуха! – презрительно фыркнул Пэдди.

Громко стуча башмаками, он сбежал с крыльца, и через минуту с дороги донесся топот копыт – он пустил чалую вскачь.

Фиа вздохнула, беспомощно посмотрела на Фрэнка:

– Хоть бы он из-за всего этого не угодил в тюрьму. Зови мальчиков в дом, Фрэнк. В школу сегодня никто не пойдет.

Она тщательно осмотрела головы сыновей, одного за другим, проверила Фрэнка и заставила его посмотреть волосы у нее самой. Незаметно было, чтобы еще кто-нибудь заразился болезнью несчастной Мэгги, но Фиа рисковать не собиралась. Когда вода в огромном котле для стирки закипела, Фрэнк снял с крюка лохань, налил пополам кипятка и холодной воды. Потом принес из сарая непечатую пятигаллоновую жестянку керосина, кусок простого мыла и принялся за Боба. Одному за другим он смачивал братьям головы водой из лохани, щедро поливал керосином и густо намыливал. Получалась противная жирная каша, от нее щипало глаза и ело кожу; мальчишки вопили, терли глаза кулаками, скребли покрасневшие зудящие головы и грозились жестоко отомстить всем итальяшкам.

Фиа достала из корзинки с шитьем большие ножницы. Опять подошла к Мэгги, которая уже больше часа не смела слезть с табурета, и остановилась, глядя на этот водопад сияющих волос. А потом защелкала ножницами – раз, раз! – и под конец все длинные локоны обратились в блестящие холмики на полу, а на голове Мэгги кое-где стала просвечивать кожа. Тогда Фиа нерешительно посмотрела на Фрэнка.

– Неужели надо ее обрить? – выговорила она через силу.

Фрэнк возмущенно вскинулся, поднял руку:

– Ну нет, мам! Ни за что! Вымыть как следует керосином – и хватит. Только, пожалуйста, не надо брить!

И вот Мэгги отвели к рабочему столу, нагнули над лоханью и кружку за кружкой поливали ей голову керосином и терли едким мылом жалкие остатки ее волос. Когда с этой работой было покончено, глаза Мэгги почти ничего не видели – так долго и старательно она жмурилась, а на лице и на коже головы высыпали красные пупырышки. Фрэнк смел остриженные волосы на лист бумаги и сунул в печь. Потом окунул метлу в жестянку с керосином. Они с матерью тоже вымыли головы едким мылом, которое жгло кожу так, что дух захватывало, а потом Фрэнк взял ведро и вымыл пол в кухне раствором, которым моют овец.

Наведя в кухне стерильную чистоту, не хуже, чем в больнице, они прошли по спальням, сняли одеяла и простыни со всех кроватей и до вечера кипятили все это, выжимали и развешивали для просушки. Матрасы и подушки повесили на забор за домом и обрызгали керосином, а ковры в гостиной выбивали так, что только чудом не превратили в лохмотья. Все мальчики призваны были на помощь, только Мэгги не позвали, на нее и посмотреть никто не хотел. От позора она спряталась за сараем и заплакала. После всех терзаний голова

горела, в ушах стоял шум, а еще горше и мучительнее был горький стыд; когда Фрэнк ее здесь отыскал, Мэгги даже не подняла на него глаз и, как он ее ни уговаривал, не хотела идти в дом.

В конце концов Фрэнку пришлось тащить ее домой насильно, а Мэгги отбивалась руками и ногами, и когда под вечер вернулся из Уэхайна Пэдди, она забилась в угол. Вид стриженной дочкиной головы сразил Пэдди – он даже всплакнул, раскачиваясь в кресле и закрыв лицо руками, а домашние стояли вокруг, переминались с ноги на ногу и рады были бы очутиться за тридевять земель. Фиа вскипятила чайник и, когда муж немного успокоился, налила ему чашку чаю.

– Что там случилось, в Уэхайне? – спросила она. – Мы тебя заждались.

– Ну, первым делом я отстегал кнутом этого итальяшку и швырнул его в колоду, из которой лошадей поят. Потом вижу – из своей лавки вышел МакЛауд и смотрит, я ему и объяснил, что к чему. МакЛауд кликнул в трактире еще ребят, и мы всех итальяшек покидали в эту лошадиную водопойню, и женщин тоже, и налили туда несколько ведер овечьего мыла. Потом пошел в школу к сестре Агате, и она чуть не сбесилась – как это она раньше ничего не замечала! Вытащила она ту девчонку из-за парты, глядит – а у нее в волосах целый зверинец. Ну, отослала ее домой – мол, пока голова не будет чистая, чтоб ноги твоей тут не было. Когда я уходил, она с другими сестрами всех ребят подряд проверяла, и, ясное дело, еще нашлась куча таких. Эти три монашки и сами скребутся вовсю, когда думают, никто не видит. – Вспомнив об этом, он ухмыльнулся, но посмотрел на голову Мэгги и опять помрачнел. – А ты, барышня, больше не смей водиться ни с итальяшками, ни с кем, хватит с тебя братьев. А не хватит – тем хуже для тебя. И ты, Боб, гляди, чтоб она в школе ни с кем больше не зналась, понял?

Боб кивнул:

– Понял, пап.

На другое утро, к великому ужасу Мэгги, ей опять велели идти в школу.

– Нет, нет, не пойду! – взмолилась она и обеими руками схватилась за голову. – Мама, мамочка, не могу я такая в школу, там же сестра Агата!

– Прекрасно можешь, – сказала мать. Фрэнк посмотрел просительно, но она словно и не заметила. – Вперед будешь умнее.

И повязала голову Мэгги коричневым ситцевым платком, и поплелась она в школу, еле передвигая ноги. Сестра Агата ни разу не взглянула в ее сторону, но на перемене девочки сдернули платок, чтобы посмотреть, на что она теперь похожа. Лицо Мэгги почти не пострадало, но коротко стриженная голова с воспаленной, разъеденной кожей выглядела устрашающе. Тут подоспел на выручку Боб и увел сестру в тихий уголок – на крикетную площадку.

– Плюнь на них, Мэгги, не обращай внимания, – сердито сказал он, опять неумело повязав ей голову платком, похлопал по закаменелым плечам. – Они просто ведьмы. Жаль, я не догадался прихватить у тебя с головы несколько штук про запас. Только бы эти злюки зазевались, я бы им подпустил в космы.

Подожли младшие мальчишки Клири и до самого звонка сидели и стерегли сестру.

Тереза Аннунцио забежала в школу только на большой перемене, голову ей дома обрили. Она хотела поколотить Мэгги, но, конечно, мальчишки не дали. Отступая, она высоко вскинула правую руку со сжатым кулаком, а левой похлопала по бицепсу – загадочный ворожейный знак, никто его не понял, но всем мальчишкам понравилось – надо перенять!

– Ненавижу тебя! – закричала Тереза. – Твой отец моему все испортил, теперь нам придется отсюда уехать! – И она, рыдая, убежала.

Мэгги не опустила головы и не проронила ни слезинки. Она училась уму-разуму. Что бы про тебя ни думали другие, это все равно, все равно, все равно! Девочки теперь ее сторонились – побаивались Боба и Джека, да и родители, прослышав о случившемся, велели детям держаться от нее подальше: так ли, эдак ли, а дружба с кем-либо из Клири обычно к добру не ведет. И последние школьные дни Мэгги, как тут выражались, провела «в Ковентри» – это был настоящий бойкот. Даже сестра Агата не нарушала новую политику и зло срывала уже не на Мэгги, а на Стюарте.

Как всегда бывало, когда дни рождения младших детей приходились в будни, праздновать шестилетие Мэгги решили в следующую субботу, и тогда-то она получила заветный сервиз. Посуду расставили на красивом голубом столике – столик вместе с двумя такими же стульями искусно смастерил Фрэнк в минуты досуга (которого у него никогда не бывало), и на одном из этих стульчиков восседала Агнес в новом голубом платье, сшитом Фионой в минуты досуга (которого у нее тоже никогда не бывало). Горестно смотрела Мэгги на бело-синие узорчатые чашки и блюда с веселыми сказочными деревьями в пушистых цветах, с крохотной пышной пагодой и невиданными птицами и с человечками, что вечно спешат перейти выгнутый дугою мостик. Все это начисто утратило былую прелесть. Но Мэгги смутно понимала, почему родные, урезая себя во всем, поднесли ей, как они думали, самый дорогой ее сердцу подарок. И, движимая чувством долга, она приготовила для Агнес чай в четырехугольном чайничке и словно бы с восторгом совершила весь положенный обряд чаепития. И упорно продолжала эту игру много лет, ни одна чашка у нее не разбилась и даже не треснула. И никто в доме не подозревал, как ненавистны ей этот сервиз, и голубой столик со стульями, и голубое платье Агнес.

В 1917 году, за два дня до Рождества, Пэдди принес домой свою неизменную еженедельную газету и новую пачку книг из библиотеки. Однако на сей раз газета оказалась поважнее книг. Ее редакция под влиянием ходких американских журналов, которые хоть и очень редко, но все же попадали и в Новую Зеландию, загорелась новой идеей: вся середина посвящена была войне. Тут были не слишком отчетливые фотографии анзаков<sup>[2]</sup>, штурмующих неприступные утесы Галлиполи, и пространные статьи, прославляющие доблестных воинов Южного полушария, и рассказы обо всех австралийцах и новозеландцах, удостоенных высокого ордена – креста Виктории за все годы, что существует этот орден, и великолепное, на целую страницу, изображение австралийского кавалериста на лихом скакуне: вскинута наотмашь сабля, сбоку широкополой шляпы развеваются шелковистые перья.

Улучив минуту, Фрэнк схватил газету и залпом все это проглотил, он упивался этой урапатриотической декламацией, в глазах загорелся недобрый огонек. Он благоговейно положил газету на стол.

– Я тоже хочу воевать, папа!

Фиа вздрогнула, обернулась, расплескав мясной соус по всей плите, а Пэдди выпрямился в кресле, забыв про книгу.

– Ты еще слишком молод, Фрэнк, – сказал он.

– Ничего подобного, мне уже семнадцать, папа, я взрослый! Как же так, немцы и турки режут наших почем зря, а я тут сижу сложа руки? Пора уже хоть одному Клири взяться за

оружие.

– Ты несовершеннолетний, Фрэнк, тебя не возьмут в армию.

– Возьмут, если ты не будешь против, – возразил Фрэнк и в упор посмотрел черными глазами на Пэдди.

– Но я очень даже против. Сейчас ты у нас один работаешь, и ты прекрасно знаешь, нам не обойтись без твоего заработка.

– Но в армии мне тоже будут платить!

Пэдди засмеялся:

– Солдатское жалованье, да? Кузнецу в Уэхайне платят куда лучше, чем солдату в Европе.

– Но там я, может быть, чего-то добыю, не останусь на всю жизнь кузнецом! А иначе мне не выбиться, папа!

– Чепуха! Ты не знаешь, о чем говоришь, парень. Война – страшная штука. Я родом из страны, которая воевала тысячу лет, я-то знаю, что говорю. Слыхал ты, что рассказывают ветераны бурской? Ты ведь часто ездишь в Уэхайн, так вот, в другой раз послушай их. И потом, я же вижу, для подлых англичан анзаки просто пушечное мясо, они суют нашего брата в самые опасные места, а своих драгоценных солдат берегут. Гляди, как этот вояка Черчилль зазря погнал наших на Галлиполи! Из пятидесяти тысяч десять тысяч убито! Вдвое хуже, чем расстрелять каждого десятого. И с какой стати тебе воевать за старуху Англию? Что ты видел от нее хорошего? Она только и знает сосать кровь из своих колоний. А приедешь в Англию – там все от тебя нос воротят, уроженца колоний и за человека не считают. Новой Зеландии эта война не опасна, и Австралии тоже. А если старуху Англию расколошматят, это ей только на пользу; сколько Ирландия от нее натерпелась, давно пора ей за это поплатиться. Даже если кайзер и промарширует по Стрэнду, будь уверен, я плакать не стану.

– Папа, но мне непременно надо записаться добровольцем!

– Надо или не надо, никуда ты не запишешься, Фрэнк, лучше и не думай про это. Для солдата ты ростом не вышел.

Фрэнк густо покраснел, стиснул зубы; он всегда страдал из-за своего малого роста. В школе он неизменно был меньше всех в классе и потому кидался в драку вдвое чаще любого другого мальчишки. А в последнее время его терзало страшное подозрение – вдруг он больше не вырастет? Ведь сейчас, в семнадцать, в нем те же пять футов три дюйма, что были в четырнадцать. Никто не ведал его телесных и душевных мук, не подозревал о тщетных надеждах, о бесплодных попытках при помощи труднейшей гимнастики хоть немного вытянуться.

Между тем работа в кузнице наградила его силой не по росту: старайся Пэдди нарочно выбрать для Фрэнка самое подходящее занятие при его нраве и складе, он и тогда не мог бы выбрать удачнее. Маленький, но крепкий и напористый, в свои семнадцать он в драке еще ни разу не потерпел поражения и уже прославился на весь мыс Таранаки. Даже самый сильный и рослый из здешних парней не мог его побороть, потому что в бою для Фрэнка был выход всей накипевшей злости, чувству ущемленности, недовольству судьбой, и при этом он обладал великолепными мышцами, отличной сметкой, недобрым нравом и нестигаемой волей.

Чем крупнее и крепче оказывался противник, тем важнее было Фрэнку победить его и унижить. Сверстники обходили его стороной – кому охота связываться с таким задирой. И Фрэнк стал вызывать на бой парней постарше, вся округа толковала о том, как он сделал

отбивную котлету из Джима Коллинза, хотя Джиму уже двадцать два, и росту в нем шесть футов четыре дюйма, и он вполне может поднять лошадь. Со сломанной левой рукой и помятыми ребрами Фрэнк продолжал молотить Джима, пока тот, скуля, не свалился окровавленным комом к его ногам, и пришлось удержать его силой, чтобы не пнул уже бесчувственного Джима в лицо. А едва зажила рука и сняли тугую повязку с ребер, Фрэнк отправился в город и тоже поднял лошадь – пускай все знают, что не только Джиму такое под силу и дело тут не в росте.

Пэдди знал, какая слава идет о его необыкновенном отпрыске, и прекрасно понимал, что в бою Фрэнк стремится утвердить свое достоинство, однако его сердило, когда эти драки мешали работе в кузнице. Пэдди, и сам ростом невеличка, в молодости тоже доказывал свою храбрость кулаками, но в его родном краю немало людей и пониже, а в Новую Зеландию, где народ крупнее, он приехал уже взрослым. И сознание, что он ростом не вышел, не терзало его неотступно, как Фрэнка.

И теперь Пэдди осторожно присматривался к парнишке и тщетно силился его понять; сколько ни старался он относиться ко всем детям одинаково, старший никогда не был так дорог ему, как другие. Он знал, жену это огорчает, ее тревожит вечное молчаливое противоборство между ним и Фрэнком, но даже любовь к Фионе не могла унять постоянную неодолимую досаду на Фрэнка.

Коротковатые, но хорошо вылепленные руки Фрэнка прикрыли газетный лист, в глазах, устремленных на отца, странно смешались мольба и гордость – гордость чересчур упрямая, чтобы высказать мольбу вслух. Какое чужое лицо у мальчишки! Нет в нем ничего ни от Клири, ни от Армстронгов, разве только глаза, пожалуй, походили бы на материнские, если бы и у Фионы они были черные и вот так же гневно вспыхивали из-за каждого пустяка. Чего-чего, а храбрости парнишке не занимать.

После того, что сказал Пэдди о росте Фрэнка, разговор оборвался; тушеного кролика доедали в непривычном молчании, даже Хьюги и Джек лишь вполголоса перекидывались словечком да поминутно хихикали. Мэгги вовсе ничего не ела и не сводила глаз с Фрэнка, будто боялась, что он вот-вот растворится в воздухе. Фрэнк для приличия еще немного поковырял вилкой в тарелке и спросил разрешения встать из-за стола. Через минуту от поленницы донесся стук топора. Фрэнк яростно накинулся на неподатливые колоды, которые Пэдди добыл про запас, – это твердое дерево горит медленно и дает зимой вдоволь тепла.

Когда все думали, что она уже спит, Мэгги приотворила окно и украдкой пробралась к поленнице. Этот угол двора играл особо важную роль в жизни всего семейства; пространство примерно в тысячу квадратных футов устлано плотным слоем коры и мелких щепок, по одну сторону высятся ряды еще не разделанных бревен, по другую – мозаичная стена аккуратно уложенных ровных поленьев как раз по размеру дровяного ящика в кухне. А посередине остались невыкорчеваны три пня, на которых можно рубить дрова и чурки любой величины.

Фрэнка тут не оказалось – он орудовал над эвкалиптовым бревном, таким огромным, что его не втащить было даже на самый низкий и широкий пень. Бревно в два фута в поперечнике лежало на земле, закрепленное на концах железными костылями, а Фрэнк стоял на нем, упористо расставив ноги, и рубил поперек. Топор так и мелькал, со свистом рассекая воздух, и рукоятка, стиснутая влажными ладонями, издавала какой-то отдельный шипящий звук. Лезвие молнией вспыхивало над головой Фрэнка, блестело, опускаясь,

тусклым серебром и вырубало из ствола клинья с такой легкостью, точно то был не твердый, как железо, эвкалипт, а сосна или какой-нибудь бук. Во все стороны летели щепки, голая грудь и спина Фрэнка взмокли, лоб он повязал платком, чтобы пот, стекая, не ел глаза. Такая рубка – работа опасная, чуть промажешь – и полступни долой. Фрэнк перехватил руки в запястьях ремешками, чтобы впитывали пот, но рукавиц не надел, маленькие крепкие руки держали топорище словно бы без усилия, и каждый удар был на диво искусным и метким.

Мэгги присела на корточки возле сброшенной Фрэнком рубашки и смотрела пугливо и почтительно. Поблизости лежали три запасных топора – ведь об эвкалипт лезвие тупится в два счета. Мэгги втащила один топор за рукоять на колени к себе и позавидовала Фрэнку – вот бы и ей так ловко рубить дрова! Топор тяжеленный, она его насилу подняла. У новозеландских топоров только одно острое, как бритва, лезвие, ведь обоюдоострые топоры слишком легкие, эвкалипт такими не возьмешь. А у этого тяжелый обух в дюйм шириной и топорище закреплено в его отверстии намертво вбитыми деревянными клинышками. Если топор сидит непрочно, он того и гляди соскочит в воздухе с топорища, промчится, как пушечное ядро, и еще убьет кого-нибудь.

Быстро смеркалось, и Фрэнк рубил, полагаясь, кажется, больше на чутье; Мэгги привычно пригибала голову под летящими щепками и терпеливо ждала, пока он ее заметит. Он уже наполовину перерубил ствол, повернулся, перевел дух; снова занес топор и принялся рубить с другого бока. Он прорубал в бревне узкую глубокую щель – и для скорости, и чтоб не изводить дерево зря на щепу; ближе к сердцевине лезвие почти целиком скрывалось в щели, и крупные щепки летели чуть не прямоком на Фрэнка. Но он их будто не замечал и рубил еще быстрее. И вдруг – раз! – бревно распалось надвое, но в тот же миг, едва ли не прежде, чем топор нанес последний удар, Фрэнк взвился в воздух. Обе половины бревна сдвинулись, а Фрэнк после своего кошачьего прыжка стоял в стороне и улыбался, но невеселая это была улыбка.

Он хотел взять другой топор, обернулся и увидел сестру – она терпеливо сидела поодаль в аккуратно застегнутой сверху донизу ночной рубашке. Странно, непривычно – вместо длинных волос, перевязанных на ночь лоскутками, у нее теперь пышная шапка коротких кудряшек, но пусть бы так и осталось, подумал Фрэнк, с этой мальчишеской стрижкой ей очень славно. Он подошел к Мэгги, опустился на корточки, топор положил на колени.

– Ты как сюда попала, негодница?

– Стюарт заснул, а я вылезла в окно.

– Смотри, совсем мальчишкой станешь.

– Ну и пускай. С мальчишками играть лучше, чем одной.

– Да, наверное. – Фрэнк сел, прислонился спиной к огромному бревну, устало посмотрел на сестренку. – Что стряслось, Мэгги?

– Фрэнк, неужели ты правда уедешь?

Руками с обкусанными ногтями она обхватила его коленку и тревожно смотрела снизу вверх ему в лицо, приоткрыв рот, – она очень старалась не заплакать, но подступающие слезы уже не давали дышать носом.

– Может, и уеду, – мягко ответил брат.

– Ой, нет, Фрэнк, что ты! Нам с мамой никак нельзя без тебя! Честное слово, просто не знаю, что бы мы без тебя делали!

Как ни худо было Фрэнку, он не мог не улыбнуться – малышка сказала это в точности как мать.

– В жизни не все выходит так, как нам хочется, Мэгги, ты это запомни. Нас, Клири, всегда учили – трудитесь все вместе на общую пользу, каждый о себе думайте в последнюю очередь. А по-моему, это неправильно, надо, чтоб каждый мог сначала подумать о себе. Я хочу уехать, потому что мне уже семнадцать, пора мне строить свою жизнь по-своему. А папа говорит – нет, ты нужен семье дома. И я должен делать, как он велит, потому что мне еще не скоро будет двадцать один.

Мэгги серьезно кивнула, пытаясь разобраться в этом объяснении.

– Так вот, Мэгги, я долго думал, ломал голову. И решил – уеду, и все. Я знаю, вам с мамой будет меня не хватать, но уже подрастает Боб, а папа и мальчики по мне скучать не станут. Папе только и нужно, чтоб я зарабатывал деньги.

– Значит, ты нас больше совсем не любишь?

Фрэнк повернулся, подхватил ее на руки, обнял, обуреваемый мучительной, жадной и горькой нежностью.

– Мэгги, Мэгги! Тебя и маму я люблю больше всех на свете! Господи, была б ты постарше, я бы с тобой о многом поговорил!.. А может, это и лучше, что ты еще кроха, может, так лучше...

Он вдруг выпустил ее и силился совладать с собой, мотал головой, ударяясь затылком о бревно, судорожно глотал, губы его дрожали. Наконец он посмотрел на сестру:

– Вот подрастешь, Мэгги, тогда ты меня поймешь.

– Пожалуйста, Фрэнк, не уезжай, – повторила она.

У него вырвался смех, больше похожий на рыдание.

– Ох, Мэгги! Неужели ты ничего не слышала, что я толковал? Ну ладно, не важно. Главное, ты никому не говори, что видела меня сегодня вечером, слышишь? Не хочу я, чтоб они думали, что ты все знала.

– Слышу, Фрэнк, я все-все слышала, – сказала Мэгги. – И я никому ничего не скажу, честное слово. Только мне так жалко, что ты уезжаешь!

Она была еще слишком мала и не умела высказать то неразумное, что билось в душе: кто же останется ей, если уйдет Фрэнк? Ведь только он один, не скрываясь, любит ее, он один иной раз обнимет ее и приласкает. Раньше и папа часто брал ее на руки, но с тех пор, как она ходит в школу, он уже не позволяет ей взбираться к нему на колени и обнимать за шею, говорит: «Ты уже большая, Мэгги». А мама всегда так занята и такая усталая, у нее столько хлопот: мальчики, хозяйство... Фрэнк – вот кто Мэгги милее всех, вот кто – как звезда на ее нешироком небосклоне. Кажется, только он один рад посидеть и поговорить с ней, и он так понятно все объясняет. С того самого дня, как Агнес лишилась волос, Фрэнк всегда был рядом, и с тех пор самые горькие горести уж не вовсе разрывали сердце. Можно было пережить и удары трости, и сестру Агату, и вшей, потому что Фрэнк умел успокоить и утешить. Но она встала и нашла в себе силы улыбнуться.

– Раз уж тебе непременно надо, Фрэнк, так уезжай, это ничего.

– А тебе пора в постель, Мэгги, пока мама тебя нехватила. Беги скорей!

Тут у Мэгги все вылетело из головы; она наклонилась, подцепила подол ночной рубашонки, просунула его сзади наперед, будто хвостик поджала, и, придерживая так, пустилась бегом, босыми ногами прямо по колючим острым щепкам.

Утром встали – Фрэнка нет. Фиа пришла будить Мэгги мрачная, говорила отрывисто; Мэгги вскочила с постели как ошпаренная, поспешно оделась и даже не попросила застегнуть ей бесчисленные пуговики.

В кухне мальчики уже сидели урюмо за столом, но стул Пэдди пустовал. И стул Фрэнка тоже. Мэгги проскользнула на свое место и замерла, стуча зубами от страха. После завтрака Фиа велела им всем уходить из кухни, и тогда, уже за сараем, Боб сказал Мэгги, что случилось.

– Фрэнк сбежал, – прошептал он.

– Может, он просто поехал в Уэхайн, – ответила Мэгги.

– Да нет же, дурочка! Он ушел в армию. Эх, жалко, мне лет мало, я бы тоже с ним пошел! Вот счастливчик!

– А мне жалко, что он ушел, лучше остался бы дома.

Боб пожал плечами:

– Вот что значит девчонка, ничего ты не понимаешь!

Против обыкновения, Мэгги не вспыхнула, услышав такие обидные слова, и пошла в дом – может быть, она пригодится матери.

Фиа дала ей утюг, и Мэгги принялась гладить носовые платки.

– А где папа? – спросила она.

– Поехал в Уэхайн.

– Он привезет Фрэнка назад?

– Попробуйте в этом доме сохранить что-нибудь в секрете! – сердито фыркнула Фиа. – Нет, в Уэхайне ему Фрэнка уже не найти, он и не надеется. Он даст телеграмму в Уонгануи, полиции и воинскому начальству. Они отошлют Фрэнка домой.

– Ой, мама, хорошо бы они его нашли! Не хочу я, чтобы Фрэнк от нас уехал!

Фиа вывернула на стол содержимое маслобойки и стала ожесточенно лупить полужидкий желтый холмик двумя деревянными лопатками.

– Никто не хочет, чтоб Фрэнк от нас уехал. Потому папа и постарается его вернуть. – Губы ее дрогнули, она еще сильнее принялась бить по маслу. – Бедный Фрэнк, бедный, бедный Фрэнк! – вздохнула она, забыв про Мэгги. – Ну почему, почему дети должны расплачиваться за наши грехи. Бедный мой Фрэнк, такой неприкаянный...

Тут она заметила, что Мэгги перестала гладить, плотно сжала губы и не промолвила больше ни слова.

Через три дня полиция вернула Фрэнка домой. Сопровождающий его из Уонгануи сержант сказал Падрику, что Фрэнк отчаянно сопротивлялся, когда его задержали.

– Ну и вояка же он у вас! Как увидал, что армейских про него предупредили, мигом дал деру – с крыльца да на улицу, двое солдат – за ним. Я так думаю, он и улепетнул бы, да не повезло – сразу налетел на наш патруль. Дрался как бешеный, пришлось им навалиться на него впятером, только тогда и надели наручники.

С этими словами сержант снял с Фрэнка тяжелую цепь и впихнул его в калитку; Фрэнк чуть не упал, наткнулся на Пэдди и отпрянул, как ужаленный.

Младшие дети собрались в десятке шагов позади взрослых, выглядывали из-за угла дома, ждали. Боб, Джек и Хьюги насторожились в надежде, что Фрэнк опять кинется в драку; Стюарт, кроткая душа, смотрел спокойно, сочувственно; Мэгги схватилась за щеки и сжимала и мяла их ладонями, вне себя от страха – вдруг кто-то обидит Фрэнка.

Прежде всех Фрэнк обернулся к матери, посмотрел в упор, и в его черных глазах, устремленных навстречу ее серым, было урюмое, горькое понимание, затаенная близость, которая никогда еще, ни разу не выразилась вслух. Голубые глаза Пэдди обожгли его яростным и презрительным взглядом, ясно сказали: «Ничего другого я от тебя и не ждал», –

и Фрэнк потупился, словно признавая, что гнев этот справедлив. Отныне Пэдди не удостоит сына ни словом сверх самого необходимого, чего требуют приличия. Но труднее всего Фрэнку было оказаться лицом к лицу с детьми – со стыдом, с позором вернули домой яркую птицу, так и не пришлось ей взмыть в небо, крылья подрезаны, и песнь замерла в горле.

Мэгги дождалась, пока Фиа не обошла на ночь все спальни, выскользнула в приотворенное окно и побежала на задворки. Она знала, Фрэнк забьется на сеновал, подальше от отца и от всех любопытных взглядов.

– Фрэнк, где ты, Фрэнк? – позвала она громким шепотом, пробираясь в безмолвной кромешной тьме сарая, босыми ногами чутко, точно зверек, нащупывая, куда ступить.

– Я здесь, Мэгги, – отозвался усталый голос, совсем не похожий на голос Фрэнка, угасший, безжизненный.

И она подошла туда, где он растянулся на сене, прикорнула у него под боком, обняла, насколько могла дотянуться руками.

– Ой, Фрэнк, я так рада, что ты вернулся!

Фрэнк глухо застонал, сполз пониже и уткнулся лбом ей в плечо. Мэгги прижала к себе его голову, гладила густые прямые волосы, бормотала что-то ласковое. В темноте он не мог ее видеть, от нее шло незримое тепло сочувствия, и Фрэнк не выдержал. Он зарыдал, все тело сжималось в тугий узел жгучей боли, от его слез ночная рубашка Мэгги промокла, хоть выжми. А вот Мэгги не плакала. В чем-то она, эта малышка, была уже настолько взрослая и настолько женщина, что ощутила острую неодолимую радость: она нужна! Она прижала к груди голову брата и тихонько покачивалась, будто баюкала его, пока он не выплакался и не затих, опустошенный.

Эта дорога на Дрохеду ничуть не напоминает о днях юности, думал преподобный Ральф де Брикассар; щурясь, чтобы не так слепил глаза капот новенького «даймлера», он вел машину по ухабистым колеям проселка, ныряющего в высокой серебристой траве. Да, тут вам не милая туманная и зеленая Ирландия. А сама здешняя Дрохеда? Тоже не поле битвы и не резиденция властей предрежащих. Впрочем, так ли? Живое чувство юмора, которое он, правда, уже научился обуздывать, нарисовало преподобному де Брикассару образ Мэри Карсон – Кромвеля в юбке, распространяющего на всех и вся неподражаемую величественную неблагосклонность. Кстати, не такое уж пышное сравнение: бесспорно, сия особа обладает не меньшей властью и держит в руках не меньше судеб, чем любой могущественный военачальник былых времен.

За купами самшита и эвкалипта показались последние ворота; отец Ральф остановил машину, но мотор не выключил. Нахлобучил потрепанную и выцветшую широкополую шляпу, чтобы не напекло голову, вылез, устало и нетерпеливо отодвинул железный засов и распахнул ворота. От джиленбоунской церкви до усадьбы Дрохеда двадцать семь ворот, и перед каждым надо останавливаться, вылезать из машины, отворять их, снова садиться за руль, проезжать ворота, останавливаться, снова вылезать, возвращаться, запирасть ворота на засов, опять садиться за руль и ехать до следующих ворот. Сколько раз им овладевало желание махнуть рукой по крайней мере на половину этого обряда – мчаться дальше, оставлять за собой все эти ворота открытыми, точно изумленные разинутые рты; но даже его внушающий благоговейное почтение сан не помешал бы тогда владельцам ворот спустить с него шкуру. Жаль, что лошади не так быстры и неутомимы, как автомобиль, ведь открыть и закрыть ворота можно и не слезая с седла.

– Во всякой бочке меда есть своя ложка дегтя, – сказал он, похлопал свою новенькую машину по боку и, оставив за собой накрепко запертые ворота, поехал дальше – до Главной усадьбы оставалась еще миля зеленого луга без единого деревца.

Даже на взгляд ирландца, привычный к замкам и роскошным особнякам, это австралийское жилище выглядело внушительно. Ныне покойный владелец Дрохеды, старейшего и самого богатого имения во всей округе, без памяти влюблен был в свои владения и дом отстроил им под стать. Двухэтажный, построенный в строгом георгианском стиле, дом этот сложен был из отесанных вручную плит кремового песчаника, доставленных из карьера с востока, за пятьсот миль; большие окна с узорчатым переплетом, широкая веранда на металлических опорах опоясывает весь нижний этаж. У всех окон, точно изящная рама, ставни черного дерева – и это не только украшение: в летний зной их закрывают, сохраняя в комнатах прохладу.

На дворе уже осень, и крыша веранды и стены дома обвиты просто сетью зеленой листвы, но весной эта глициния, посаженная полвека назад, когда достроен был дом, все

захлестывает буйным цветением лиловых кистей. Дом окружен несколькими акрами заботливо ухоженного газона, по этой ровной зелени разбросаны аккуратные, на английский образец, куртины – и даже сейчас еще ярко цветут розы, желтофиоли, георгины и ноготки. Строй великолепных «призраков» – эвкалиптов с почти белыми стволами и узкими листьями, трепещущими на высоте добрых семидесяти футов, заслоняет дом от безжалостного солнца: их ветви, густо перевитые плетями ярко-лиловой бугенвиллеи, образовали сплошной шатер. Даже неизбежные в этом полудиком краю уродливые цистерны-водохранилища укрыты плащом выносливых местных выюнков, ползучих роз и глициний и ухитряются выглядеть скорее не грубой необходимостью, а украшением. До безумия влюбленный в свою Дрохеду покойный Майкл Карсон наставил цистерн с избытком: по слухам, тут хватило бы воды поливать газоны и цветники, даже если бы десять лет кряду не выпало ни капли дождя.

Тому, кто подъезжал со стороны луга, прежде всего бросались в глаза сам дом и осенявшие его эвкалипты, но потом взгляд замечал по сторонам и немного позади еще одноэтажные постройки из светло-желтого песчаника, соединенные с главным зданием крытыми галереями, тоже захлестнутыми вьющейся зеленью. Здесь дорога с глубокими колеями переходила в широкую подъездную аллею, усыпанную гравием; она огибала дом сбоку – здесь открывалась круглая площадка для экипажей – и вела дальше, туда, где кипела подлинная жизнь Дрохеды: к скотным дворам, сараям, стригальне. Все эти постройки и связанные с ними работы укрывала тень исполинских перечных деревьев – в душе отец Ральф предпочитал их бледным эвкалиптам, стражам Большого дома. Густая листва перечных деревьев, такая светлая, звенящая неумолчным жужжанием пчел, таит в себе что-то благодушно-ленивое и как нельзя лучше подходит для фермы в недрах Австралии.

Отец Ральф поставил машину и пошел к дому, а с веранды уже сияло широчайшей улыбкой ему навстречу осыпанное веснушками лицо горничной.

– Доброе утро, Минни, – сказал он.

– Доброе утречко, ваше преподобие, да как же приятно вас видеть в такой славный денек! – Выговор у нее был самый ирландский. Одной рукой она распахнула перед гостем дверь, другую заранее протянула за его потрепанной, совсем не подобающей сану шляпой.

В просторной полутемной прихожей, где пол выложен был мраморной плиткой и поблескивали медные перила широкой лестницы, отец Ральф помедлил, пока Минни не кивнула ему, давая знак пройти в гостиную.

Мэри Карсон сидела в кресле, у высокого, во все пятнадцать футов от полу до потолка, раскрытого окна и, видимо, не замечала вливающегося с улицы холода. Густые волосы ее оставались почти такими же ярко-рыжими, как в молодости; на огрубелой веснушчатой коже проступили еще и коричневые пятна – печать старости, но морщин для шестидесяти пяти лет было немного – так, легкая тонкая сетка, словно на пуховом стеганом одеяле. Неукротимый нрав этой женщины угадывался разве только по глубоким резким складкам, идущим от крыльев прямого римского носа к углам рта, да по холодному взгляду бледно-голубых глаз.

Отец Ральф прошел по дорожному французскому ковру и молча поцеловал руки хозяйки; при своем высоком росте и непринужденности движений он это проделал с большим изяществом, да еще строгая черная сутана придавала всему его облику особую изысканность. Невыразительные глаза Мэри Карсон вдруг блеснули смущением, она едва сдержала жеманную улыбку.

– Выпьете чаю, отец Ральф?

– Это зависит от того, хотите ли вы прослушать мессу, – сказал он, сел напротив нее, закинул ногу на ногу, так что под сутаной стали видны брюки для верховой езды и сапоги до колен; в этих краях приходскому священнику иначе одеваться трудно. – Я приехал исповедать вас и причастить, но, если хотите прослушать мессу, через несколько минут буду готов начать. Я вполне могу попоститься еще немного.

– Вы чересчур добры ко мне, святой отец, – самодовольно заявила Мэри Карсон, превосходно понимая, что и он, как все прочие, относится столь почтительно не к ней самой, но к ее деньгам. – Пожалуйста, выпейте чаю, – продолжала она. – С меня вполне достаточно исповедоваться и получить отпущение грехов.

На лице его не выразилось ни тени досады – здешний приход был отличной школой самообладания. Раз уж замаячил случай подняться из ничтожества, в какое он впал из-за своего слишком пылкого нрава, больше он такой ошибки не совершит. И если тонко повести игру, быть может, эта старуха и есть ответ на его молитвы.

– Должна признаться вам, святой отец, что я очень довольна минувшим годом, – сказала она. – Вы куда более подходящий пастырь, чем был покойный отец Келли, да сгноит Господь его душу. – При последних словах в ее голосе вдруг прорвалась мстительная свирепость.

Отец Ральф вскинул на нее весело блеснувшие глаза.

– Дорогая миссис Карсон! Вы высказываете не слишком христианские чувства!

– Зато говорю правду. Старик был отъявленный пропойца, и я уверена, Господь Бог сгноит его душу, как выпивка сгноила его тело. – Она наклонилась к священнику. – За этот год я неплохо вас узнала, и, надо думать, я вправе задать вам несколько вопросов, как вы полагаете? В конце концов, вам тут, в Дрохеде, живется привольно: изучаете скотоводство, совершенствуетесь в верховой езде, избежали неустроенной жизни в Джилли. Разумеется, я сама вас пригласила, но, надо думать, я вправе и получить кое-какие ответы, как вы полагаете?

Не так-то приятно услышать это напоминание – сколь многим он ей обязан, но он давно ждал часа, когда она сочтет, что он уже достаточно в ее власти, и начнет предъявлять какие-то требования.

– Конечно, это ваше право, миссис Карсон. Я вам бесконечно благодарен за доступ в Дрохеду и за все ваши подарки: за лошадей, за машину.

– Сколько вам лет? – спросила она без перехода.

– Двадцать восемь.

– Еще меньше, чем я думала. И все равно таких священников, как вы, обычно не посылают в дыру вроде Джилли. Чем же вы провинились, что вас сослали в такое захолустье?

– Я оскорбил епископа, – спокойно, с улыбкой ответил он.

– И видно, не на шутку! Однако, думаю, пастырю с вашими талантами мало радости застрять в таком вот Джиленбоуне.

– На то Божья воля.

– Вздор и чепуха! Вас привели сюда вполне человеческие слабости – и ваши, и епископа. Один только папа римский непогрешим. В Джилли вам совсем не место, все мы, здешние, это понимаем, хотя, конечно, приятно для разнообразия получить такого духовного отца, обычно к нам шлют неудачников без гроша за душой, кому смолodu была одна дорога – в священники. А вам самое место где-нибудь в высших церковных сферах, а вовсе не тут, с лошадьми да овцами. Вам очень к лицу была бы красная кардинальская сутана.

– Боюсь, на это надежды нет. Думаю, архиепископ, наместник папы римского, не часто вспоминает о столь отдаленном приходе и едва ли станет искать здесь достойных кардиналов. Но могло быть и хуже. Здесь у меня есть вы и есть Дрохеда.

Она приняла эту откровенную лесть именно так, как он и рассчитывал: приятно, что он так хорош собой, так внимателен, так умен и остроумен; да, право, из него вышел бы великолепный кардинал. Сколько она себя помнит, никогда не встречала такого красавца – и притом чтобы так своеобразно относился к своей красоте. Конечно же, он не может не знать, до чего хорош: высок, безупречно сложен, тонкое аристократическое лицо, во всем облике удивительная гармония и законченность – далеко не все свои создания Господь Бог одаряет столь щедро. Весь он, от волнистых черных кудрей и изумительных синих глаз до маленьких изящных рук и ступней, поистине совершенство. Не может быть, чтобы он этого не признавал. И однако есть в нем какая-то отрешенность, как-то он дает почувствовать, что не был и не станет рабом своей наружности. Без зазрения совести воспользуется ею, если надо, если это поможет достичь какой-то цели, но ничуть при этом не любуясь собой, скорее – так, словно людей, способных поддаться подобным чарам, даже презирать не стоит. Да, Мэри Карсон дорого бы дала, лишь бы узнать, что же в прошлом Ральфа де Брикассара сделало его таким.

Любопытно, очень многие священнослужители прекрасны, как Адонис, и влекут к себе женщин неодолимо, как Дон Жуан. Быть может, они потому и дают обет безбрачия, что боятся – не довело бы до беды такое обаяние?

– Чего ради вы терпите Джиленбоун? – спросила она. – Не лучше ли отказаться от сана, чем пойти на такое? При ваших талантах вы достигли бы и богатства, и власти на любом поприще, и не уверяйте меня, что вас не привлекает хотя бы власть.

Он приподнял левую бровь.

– Дорогая миссис Карсон, вы ведь католичка. Вам известно – обет мой нерушим. Священником я останусь до самой смерти. Я не могу изменить обету.

Она презрительно фыркнула:

– Да ну, бросьте! Неужели вы и впрямь верите, что, если откажетесь от сана, вас поразят громы небесные или кто-то станет преследовать с собаками и ружьями?

– Конечно, нет. И точно так же я не верю, что вы столь неумны, чтобы вообразить, будто в лоне святой церкви меня удерживает страх перед возмездием.

– Ого! У вас злой язык, отец де Брикассар! Так что же тогда вас связывает? Чего ради вы готовы сносить здешнюю пыль, жару и мух? Почему вы знаете, может быть, ваша каторга в Джилли – пожизненная.

На миг синие глаза его омрачились, но он улыбнулся и посмотрел на собеседницу с жалостью.

– А вы великая утешительница! – Он поднял глаза к потолку, вздохнул. – Меня с колыбели готовили к священному служению, но это далеко не все. Как объяснить это женщине? Я – сосуд, миссис Карсон, и в иные часы я полон Богом. Будь я лучшим слугою церкви, я никогда не бывал бы пуст. И эта полнота, единение с Богом не зависят от того, где я нахожусь. Они даются мне, все равно, в Джиленбоуне ли я или во дворце епископа. Но определить это чувство словами трудно, ибо даже для священнослужителей оно великая тайна. Божественный дар, мало кому его дано изведать. Вот, пожалуй, так. Расстаться с ним? Этого бы я не мог.

– Значит, и это власть, так? Но почему она дается именно священникам? По-вашему, человек обретает ее только оттого, что во время длиннейшей утомительнейшей церемонии

его мазнут елеем? Да с чего вы это вообразили?

Он покачал головой.

– Послушайте, ведь посвящению в духовный сан предшествуют многие годы. Тщательно готовишь дух свой, чтобы он мог стать сосудом Господним. Благодать надо заслужить! И это труд ежедневный, ежечасный. В этом и есть смысл священнического обета, неужели вы не понимаете? Дабы ничто земное не могло стать между служителем церкви и состоянием его духа – ни любовь к женщине, ни любовь к деньгам, ни нежелание смиряться перед другими людьми. Бедность для меня не внове – я родом из небогатой семьи. Сохранять целомудрие мне ничуть не трудно. А смирение? Для меня это из трех задач самая трудная. Но я смиряюсь, ибо, если поставлю самого себя выше своего долга быть сосудом Господним, я погиб. Я смиряюсь. И если надо, я готов терпеть Джиленбоун до конца дней моих.

– Тогда вы болван, – сказала она. – Я тоже считаю, что есть вещи поважнее любовниц, но роль сосуда Божьего не из их числа. Странно. Никогда не думала, что вы так пылко веруете. Мне казалось, вам не чужды сомнения.

– Они мне и не чужды. Какой мыслящий человек не знает сомнений? Оттого-то подчас я и ощущаю пустоту. – Он смотрел поверх ее головы, на что-то ее взгляду недоступное. – Знаете ли вы, что я отказался бы от всех своих желаний, от всех честолюбивых помыслов, лишь бы стать воистину совершенным пастырем?

– Совершенство в чем бы то ни было – скука смертная! – сказала Мэри Карсон. – Что до меня, я предпочитаю толику несовершенства.

Он засмеялся, посмотрел на нее с восхищением и не без зависти. Да, что и говорить, Мэри Карсон – женщина незаурядная!

Тридцать три года назад она осталась вдовой, единственный ее ребенок, сын, умер в младенчестве. Из-за особого своего положения в джиленбоунском обществе она не удостоила согласием даже самых честолюбивых претендентов на ее руку и сердце; ведь как вдова Майкла Карсона она была, бесспорно, королевой здешних мест. Выйди же она за кого-то замуж, пришлось бы передать ему право на все свои владения. Нет, играть в жизни вторую скрипку – это не для Мэри Карсон. И она отреклась от радостей плоти, предпочитая оставаться самовластной владычицей; о том, чтобы завести любовника, нечего было и думать – сплетни распространялись в Джиленбоуне, как электрический ток по проводам. А она отнюдь не жаждала показать, что не чужда человеческих слабостей.

Но теперь она достаточно стара, принято считать, что это возраст, когда плотские побуждения остались в прошлом. Если новый молодой священник старательно исполняет долг ее духовного отца и она вознаграждает его усердие маленькими подарками вроде автомобиля, тут нет ничего неприличного. Всю свою жизнь Мэри Карсон была неколебимой опорой католической церкви, надлежащим образом поддерживала свой приход и его пастыря духовного даже тогда, когда отец Келли перемежал чтение молитв во время службы пьяной икотой. Она не единственная благоволит к преемнику отца Келли: отец Ральф де Брикассар заслужил признание всей паствы, богачи и бедняки тут оказались единомышленны. Если прихожане с далеких окраин не могут приехать к нему в Джилли, он сам их навещает, и пока Мэри Карсон не подарила ему автомобиль, пускался в путь верхом. За его терпение и доброту все питают к нему приязнь, а иные искренне полюбили; Мартин Кинг из Бугелы, не скупясь, заново обставил церковный дом, Доминик О'Рок из Диббен-Диббена оплачивает отличную экономку.

Итак, вознесенная на пьедестал своего возраста и положения, Мэри Карсон без опаски

наслаждается обществом отца Ральфа; приятно состязаться в остроумии с противником столь же тонкого ума, приятно превзойти его в проницательности – ведь на самом-то деле никогда нет уверенности, что она и вправду его превосходит.

– Да, так вот, вы говорили, наместник папы, наверное, не часто вспоминает о столь отдаленном приходе, – сказала она, поглубже усаживаясь в кресле. – А как по-вашему, что могло бы поразить сего святого мужа настолько, чтобы он сделал Джилли осью своей деятельности?

Отец Ральф невесело усмехнулся:

– Право, не знаю. Что-нибудь необычайное? Внезапное спасение тысячи душ разом, внезапно открывшийся дар исцелять хромых и слепых... Но время чудес миновало.

– Ну, бросьте, в этом я сильно сомневаюсь. Просто Господь Бог переменял тактику. В наши дни он пускает в ход деньги.

– Вы циничная женщина! Может быть, поэтому вы мне так нравитесь, миссис Карсон.

– Меня зовут Мэри. Пожалуйста, зовите меня просто Мэри.

И горничная Минни вкатила в комнату чайный столик в ту самую минуту, как отец де Брикассар произнес:

– Благодарю вас, Мэри.

Над горячими лепешками и поджаренным хлебом с анчоусами Мэри Карсон вздохнула:

– Я хочу, чтобы сегодня вы молились за меня с удвоенным усердием, дорогой отец Ральф.

– Зовите меня просто Ральф, – сказал он и продолжал не без лукавства: – Право, не знаю, можно ли молиться за вас еще усерднее, чем я молюсь обычно, но – попытаюсь.

– О, вы прелесть! Или это злой намек? Вообще-то я не люблю откровенной лести, но с вами никогда не знаешь, пожалуй, в этой откровенности кроется смысл более глубокий. Некая приманка, клочок сена перед носом у осла. В сущности, что вы обо мне думаете, отец де Брикассар? Этого я никогда не узнаю, у вас никогда не хватит бестактности сказать мне правду, не так ли? Прелестно, очаровательно... Однако молиться обо мне вы обязаны. Я стара и грешила много.

– Все мы не становимся моложе, и я тоже грешен.

У нее вырвался короткий смешок.

– Дорого бы я дала, чтобы узнать ваши грехи! Да-да, можете поверить! – Она помолчала минуту, потом круто переменяла тему. – Я осталась без старшего овчара.

– Опять?

– За минувший год сменилось пятеро. Все труднее найти порядочного работника.

– Ну, по слухам, вы не слишком заботливая и щедрая хозяйка.

– Какая дерзость! – ахнула она и засмеялась. – А кто купил вам новехонький «даймлер», чтобы избавить вас от поездок верхом?

– Да, но ведь как усердно я молюсь за спасение вашей души!

– Будь у Майкла хоть половина вашего ума и твердости, наверное, я бы его любила, – вдруг сказала Мэри Карсон. Лицо ее стало злым и презрительным. – Вы что же думаете, у меня нет никого родных и я должна оставить свои деньги и свою землю святой церкви, так, что ли?

– Понятия не имею, – спокойно отозвался Ральф и налил себе еще чаю.

– Имейте в виду, у меня есть брат, счастливый папаша множества сыновей.

– Очень рад за вас, – пресерьезно заявил священник.

– Когда я выходила замуж, у меня не было ни гроша. И я знала, что в Ирландии мне замужеством ничего не поправить: там, чтобы подцепить богатого мужа, нужны хорошее воспитание, происхождение и связи. И я работала как каторжная, копила на билет в страну, где состоятельные люди не столь разборчивы. Когда я приехала сюда, у меня только и было что лицо да фигура да побольше ума, чем принято ждать от женщины, и этого хватило, чтобы поймать богатого дурня Майкла Карсона. Он обожал меня до самой своей смерти.

– А что же ваш брат? – подсказал отец Ральф, думая, что она забыла, с чего начала.

– Брат на одиннадцать лет моложе меня, стало быть, сейчас ему пятьдесят четыре. Нас осталось в живых только двое. Я его почти не знаю; когда я уехала из Голуэя, он был еще маленький. Теперь он живет в Новой Зеландии, но если перебрался туда, чтобы разбогатеть, это ему не удалось. А вот вчера вечером, когда с фермы пришел скотник и сказал, что Артур Тевиет собрал свои пожитки и дал тягу, я вдруг подумала о Падрике. Я тут старею, рядом ни души родной. А ведь у Пэдди опыт, на земле он работать умеет, а своей земли нет и купить не на что. Вот я и подумала, почему бы не написать ему – пускай приезжает и сыновей привезет. После моей смерти ему останутся и Дрохеда, и «Мичар лимитед», и ведь он единственный ближе мне по крови, чем какие-то там родичи в Ирландии, седьмая вода на киселе, я их даже и не знаю. – Она улыбнулась. – Ждать глупо, правда? С таким же успехом он может приехать сюда прямо теперь, пускай привыкает разводить овец на наших черноземных равнинах, у нас ведь не Новая Зеландия, все по-другому. И тогда после моей смерти он будет чувствовать себя вполне спокойно в роли хозяина.

Она опустила голову и исподлобья зорко всматривалась в священника.

– Странно, почему вы не подумали об этом раньше, – сказал он.

– А я думала. Но до недавнего времени мне вовсе не хотелось, чтобы стая стервятников только и дожидалась, когда я наконец помру. А теперь, похоже, мой смертный час приближается, и у меня такое чувство... ну, не знаю. Может быть, приятно, когда вокруг не чужие, а кровная родня.

– А что случилось, вам кажется, вы серьезно больны? – быстро спросил отец Ральф, и в глазах его была неподдельная тревога.

Мэри Карсон пожалала плечами:

– Я совершенно здорова. Но когда уже стукнуло шестьдесят пять, в этом есть что-то зловещее. Вдруг понимаешь: старость – это не что-то такое, что может с тобой случиться, – оно уже случилось.

– Да, понимаю, вы правы. Вам утешительно будет слышать в доме молодые голоса.

– Ну нет, жить они здесь не будут, – возразила она. – Пускай поселятся в доме старшего овчара у реки, подальше от меня. Я вовсе не в восторге от детей и от детского крика.

– А вам не совестно так обращаться с единственным братом, Мэри, хоть он и много моложе вас?

– Он унаследует все мое состояние – пускай сначала потрудится, – отрезала Мэри Карсон.

За неделю до того, как Мэгги исполнилось девять, Фиона Клири родила еще одного сына, но перед этим, как она считала, ей везло: несколько лет детей не прибавлялось, только и случились два выкидыша. В девять лет Мэгги стала уже настоящей помощницей. А Фионе минуло сорок – возраст немалый, носить и рожать уже не под силу. И мальчик, Хэролд, родился слабеньким; впервые на памяти семьи в дом зачастил доктор.

И, как водится, пошла беда за бедой. После войны в сельском хозяйстве вместо расцвета настал упадок. Все труднее становилось найти работу.

Однажды вечером, когда кончили ужинать, старик Энгус Мак-Уэртер доставил в дом Клири телеграмму, и Пэдди вскрыл ее дрожащими руками: телеграммы добрых вестей не приносят. Мальчики стеснились вокруг, только Фрэнк взял чашку чаю и вышел из-за стола. Фиа проводила его глазами и обернулась, услышав, как охнул Пэдди.

– Что случилось? – спросила она.

Пэдди смотрел на листок бумаги такими глазами, словно тот возвещал чью-то смерть.

– Это от Арчибальда, мы ему не нужны.

Боб яростно грохнул кулаком по столу: он давно мечтал пойти с отцом работать помощником стригалы и начать должен был на ферме Арчибальда.

– Почему он так подло нас подвел, папа? Нам же завтра надо было приступать!

– Он не пишет почему, Боб. Наверное, какой-нибудь гад нанялся за меньшую плату и перебежал мне дорогу.

– Ох, Пэдди, – вздохнула Фиа.

В колыбели у очага заплакал маленький Хэл, но Фиа еще и шевельнуться не успела, а Мэгги уже очутилась около него; вернулся Фрэнк, стал на пороге с чашкой в руке и не сводил глаз с отца.

– Что ж, видно, придется мне съездить потолковать с Арчибальдом, – сказал наконец Пэдди. – Теперь уже поздно искать другое место, но пускай объяснит толком, почему он меня подвел. Будем надеяться, что пока нас хоть на дойку где-нибудь возьмут, а в июле начнется стрижка у Уиллоуби.

Из груды белья, что лежало для тепла рядом с печкой, Мэгги вытащила пеленку, аккуратно разостлала на рабочем столе, вынула из плетеной колыбели плачущего младенца. На голове у него золотился яркий, под стать всем Клири, редкий пушок; Мэгги проворно и ловко, не хуже матери, перепеленала братишку.

– Мамочка Мэгги, – поддразнил Фрэнк.

– Ничего подобного! – сердито отозвалась она. – Просто я помогаю маме.

– Я знаю, – мягко сказал Фрэнк. – Ты у нас умница, малышка Мэгги.

Он подергал бант из белой тафты у нее на затылке и свернул его на сторону.

Мэгги вскинула серые глазищи, посмотрела на Фрэнка с обожанием. Над мотающейся головкой младенца лицо ее казалось почти взрослым. У Фрэнка защемило сердце – ну почему на нее это свалилось, она сама еще ребенок, ей бы нянчиться только с куклой, но та теперь забыта, сослана в спальню. Если бы не Мэгги и не мать, Фрэнк бы давным-давно ушел из дому. Он угрюмо посмотрел на отца – вот кто виноват, что в семье появилось еще одно живое существо и все перевернуто вверх дном. Теперь отца не взяли на ферму, где он всегда стриг овец, и поделом.

Почему-то ни другие мальчики, ни даже Мэгги не вызывали у него таких мыслей, как Хэл; но на этот раз, когда талия матери начала округляться, Фрэнк был уже достаточно взрослый, мог бы уже и сам жениться и стать отцом семейства. Все, кроме малышки Мэгги, чувствовали себя неловко, а мать – особенно. Мальчики исподтишка ее оглядывали, и она пугливо съеживалась, и пристыженно отводила глаза, и не могла выдержать взгляд Фрэнка. Ни одна женщина не должна бы переживать такое, в тысячный раз говорил себе Фрэнк, вспоминая, какие душераздирающие стоны и вопли доносились из спальни матери в ночь, когда родился Хэл; Фрэнка, уже взрослого, не отправили тогда к соседям, как остальных. А

теперь отец потерял работу, получил от ворот поворот, так ему и надо. Порядочный человек уже оставил бы жену в покое.

Мать смотрела через весь длинный стол на Пэдди, при свете недавно проведенного электричества ее волосы были точно золотая пряжа, правильный профиль такой красоты – не сказать словами. Как же это случилось, что она, такая прелестная, такая утонченная, вышла за бродягу, стригаля-сезонника родом с болот Голуэя? И пропадает она тут понапрасну, как и ее сервиз тонкого фарфора, и красивые полотняные скатерти, и персидские ковры в гостиной, никто ничего этого не видит, потому что жены таких, как Пэдди, ее чуждаются. При ней им неловко, они вдруг замечают, что слишком крикливы, неотесанны и не знают, как обращаться со столовым прибором, если в нем больше одной вилки.

Иногда в воскресенье мать одиноко садилась в гостиной за маленький клавесин у окна и играла, хотя за недосугом, без практики, пальцы ее давно утратили беглость и она справлялась теперь лишь с самыми простыми пьесками. В такие часы Фрэнк прятался под окном, среди сирени и лилий, закрывал глаза и слушал. И тогда ему виделось: мать в длинном пышном платье из нежнейших бледно-розовых кружев сидит за клавесином в огромной комнате цвета слоновой кости, озаренная сиянием свеч в великолепных канделябрах. От этого видения ему хотелось плакать, но теперь он уже никогда не плачет – с того памятного вечера в сарае, с тех пор, как полиция вернула его домой.

Мэгги опять уложила Хэла в колыбель и отошла к матери. Вот и эта пропадает понапрасну. Тот же гордый тонкий профиль; и в руках, и в совсем еще детской фигурке тоже что-то от матери. Когда вырастет, она будет вылитая мать. А кто тут на ней женится? Тоже какой-нибудь ирландец-стригаль или тупой мужлан с молочной фермы под Уэхайном? Она достойна лучшей участи, но рождена не для лучшего. Выхода никакого нет, так все говорят, и с каждым годом все непоправимее убеждаешься, что это правда.

Внезапно ощутив на себе его взгляд, и Фиа, и Мэгги обернулись, одарили его несказанно нежными улыбками – так улыбаются женщины только самым дорогим и любимым. Фрэнк поставил чашку на стол и вышел за дверь кормить собак. Если бы он мог заплакать или убить кого-нибудь! Что угодно, лишь бы избавиться от этой боли!

Через три дня после того, как Пэдди потерял работу у Арчибальда, пришло письмо от Мэри Карсон. Он прочел его тут же на почте в Уэхайне, как только получил, и вернулся домой вприпрыжку, точно маленький.

– Мы едем в Австралию! – заорал он и помахал перед ошарашенным семейством дорогой веленовой бумагой.

Тишина, все глаза прикованы к Пэдди. Во взгляде Фионы испуг, и во взгляде Мэгги тоже, но глаза мальчиков радостно вспыхнули, а у Фрэнка горят как уголья.

– Пэдди, но почему она вдруг вспомнила о тебе после стольких лет? – спросила Фиа, прочитав письмо. – Она ведь не со вчерашнего дня богата и одинока. И я не припомню, чтобы она хоть раз предложила помочь нам.

– Похоже, ей стало страшно помереть в одиночестве, – сказал Пэдди, пытаясь успокоить не только жену, но и себя. – Ты же видишь, что она пишет: «Я уже не молода, ты и твои сыновья – мои наследники. Я думаю, нам следует увидеться, пока я жива, и тебе пора научиться управлять своим наследством. Я намерена сделать тебя старшим овчаром, это будет отличная практика, и твои старшие сыновья тоже могут работать овчарами. Дрохеда

станет семейным предприятием, можно будет обойтись без посторонних».

– А она не пишет, пришлет она нам денег на дорогу? – спросила Фиа.

Пэдди выпрямился. Сказал как отрезал:

– И не подумаю у нее клянуть! Доберемся до Австралии на свои деньги; у меня кое-что отложено, хватит.

– А по-моему, ей следовало бы оплатить наш переезд, – упрямо повторила Фиа, к общему изумлению и растерянности: не часто ей случалось перечить мужу. – С какой стати ты все здесь бросишь и поедешь работать на нее только потому, что она тебе что-то пообещала в письме? Она прежде ни разу и пальцем не шевельнула, чтобы нам помочь, и я ей не доверяю. Я только помню: ты всегда говорил, что другой такой скряги свет не видал. В конце концов, Пэдди, ты ведь ее почти не знаешь; ты гораздо моложе ее, и она уехала в Австралию, когда ты даже еще в школу не ходил.

– По-моему, сейчас это все уже не важно, а если она скуповата, что ж, тем больше останется нам в наследство. Нет, Фиа, мы едем в Австралию и за дорогу заплатим сами.

Фиа больше не спорила. И по лицу ее нельзя было понять, рассердило ли ее, что муж поставил на своем.

– Ура, мы едем в Австралию! – крикнул Боб и ухватил отца за плечи. Джек, Хьюги и Стюарт прыгали от восторга, а Фрэнк улыбался, заглядевшись на что-то далеко за стенами этой комнаты, видимое лишь ему одному. Только Фионой и Мэгги овладели сомнения и страх, и они мучительно надеялись, что, может быть, эта затея еще сорвется, ведь им в Австралии легче не станет – их ждут те же заботы и хлопоты, только все вокруг будет чужое, непривычное.

– Джиленбоун – это где? – спросил Стюарт.

Вытащили старый географический атлас; хотя семья и жила в постоянной нужде, но на кухне позади обеденного стола имелось несколько полок с книгами. Мальчики впились в пожелтевшие от времени листы и наконец отыскали Новый Южный Уэльс. Привыкшие к малым новозеландским расстояниям, они не догадались свериться с масштабом, указанным в левом нижнем углу карты. И, само собой, решили, что Новый Южный Уэльс не больше Северного острова Новой Зеландии. А в левом верхнем углу карты отыскался и Джиленбоун – пожалуй, не дальше от Сиднея, чем Уонгануи от Окленда, хотя кружки и точки – города – встречались гораздо реже, чем на карте Северного острова.

– Это очень старый атлас, – сказал Пэдди. – Австралия вроде Америки, она растет не постепенно, а скачками. Теперь там наверняка стало больше городов.

На пароходе придется ехать четвертым классом, но не беда, ведь это всего три дня. Не то что долгие недели, когда перебираешься из Англии в другое полушарие. С собой можно будет взять только одежду, посуду, постельное белье, кухонную утварь да вот эту драгоценность – книги; мебель придется продать, иначе не хватит денег перевезти скромную обстановку Фиониной гостиной – ее клавесин, ковры, стулья.

– Я не допущу, чтобы ты от всего этого отказалась, – решительно заявил жене Пэдди.

– Но разве такой расход нам по карману?

– Безусловно. А что до остальной мебели, Мэри пишет, для нас приготовят дом прежнего старшего овчара и там есть все, что нам может понадобиться. Я рад, что нам не придется жить с ней под одной крышей.

– Я тоже, – сказала Фиа.

Пэдди поехал в Уонгануи и взял билеты в восьмиместную каюту четвертого класса на

«Уэхайне»; странно, пароход назывался так же, как ближайший к ним город. Отплывал он в конце августа, и уже с начала месяца все стали понимать, что великое событие и вправду состоится. Надо было отдать собак, продать лошадей и двуколку, мебель погрузить на подводу старика Энгуса Мак-Уэртера и отправить в Уонгануи на распродажу, а немногие вещи из приданого Фионы упаковать заодно с посудой, бельем, книгами и кухонной утварью.

Фрэнк застал мать возле прелестного старинного клавесина – она поглаживала чуть розоватое, в тонких прожилках, дерево и задумчиво смотрела на следы позолоты, оставляющей пыльцу на кончиках пальцев.

– У тебя всегда был этот клавесин, мам? – спросил Фрэнк.

– Да. Мои собственные вещи у меня не могли отнять, когда я выходила замуж. Этот клавесин, персидские ковры, кушетку и стулья в стиле Людовика Пятнадцатого, письменный столик эпохи регентства. Не так уж много, но все это было мое по праву.

Печальные серые глаза ее смотрели мимо Фрэнка на стену, на маслом писанный портрет – от времени краски немного поблекли, но еще хорошо можно было разглядеть золотоволосую женщину в пышном наряде из нежных бледно-розовых кружев – в кринолине и несметных оборках.

Фрэнк обернулся и тоже посмотрел на портрет.

– Кто она такая? – с любопытством спросил он. – Я давно хотел спросить.

– Одна знатная дама.

– Наверное, она тебе родня. Немножко на тебя похожа.

– Мы в родстве? – Фиа оторвалась от созерцания портрета и насмешливо посмотрела на сына. – Неужели по мне похоже, что у меня могла быть такая родственница?

– Да.

– Опомнись, у тебя каша в голове.

– Ты бы рассказала мне все как есть, мам.

Фиа вздохнула, закрыла клавесин, стряхнула с пальцев золотую пыльцу.

– Тут нечего рассказывать, совершенно нечего. Помоги-ка мне выдвинуть эти вещи на середину комнаты, папа их запакует.

Переезд оказался сущим мучением. Еще прежде чем «Уэхайн» вышел из Веллингтонской гавани, семью одолела морская болезнь и не отпускала до конца, пока не остались позади тысяча двести миль штормового зимнего моря. Пэдди вывел сыновей на палубу и держал их тут, хоть и хлестал ветер и поминутно обдавало пеной, и лишь когда какая-нибудь добрая душа вызывалась присмотреть за его несчастными, измученными рвотой мальчишками, спускался в каюту проведать жену с дочерью и малыша. Фрэнк тоже томился по глотку свежего воздуха, но все же оставался при матери и Мэгги. В тесной душной каюте воняло нефтью, она помещалась ниже ватерлинии, близко к носу, и качка была жестокая.

После первых же часов плавания Фрэнк и Мэгги решили, что мать умирает; врач, вызванный из первого класса встревоженным стюардом, мрачно покачал головой.

– Хорошо еще, что переезд не длинный, – сказал он и велел сестре милосердия принести молока для младенца.

Между приступами морской болезни Фрэнк и Мэгги ухитрялись поить Хэла из бутылочки (хотя он упрямился и не брал соску). Фиону больше не выворачивало, она лежала, как мертвая, и они не могли привести ее в чувство. Стюард помог Фрэнку уложить ее на

верхнюю койку, где дышалось немного легче, и, прижимая ко рту полотенце, потому что его и самого понемножку рвало желчью, Фрэнк примостился рядом на краю койки и отводил со лба матери спутанные золотистые волосы. Как ни худо ему было, он часами оставался на посту; и всякий раз Пэдди заставлял в каюте ту же картину: Фрэнк сидит около матери и гладит ее по волосам, а Мэгги, с полотенцем у рта, скорчилась на нижней койке возле Хэла.

Через три часа после стоянки в Сиднее море утихло, и старый пароход обволокло туманом, который подкрался по зеркальной глади с далекой Антарктики. Опять и опять была сирена – и Мэгги, немного пришедшей в себя, чудилось, что теперь, когда жестокие удары в борта прекратились, старая посуда вопит от боли. «Уэхайн» еле-еле, крадучись, двигался в липкой серой мгле, точно преследуемый зверь, и опять откуда-то сверху доносился хриплый, на одной ноте, вопль – одинокий, безнадежный, бесконечно унылый. А потом все вокруг заполнилось такими же горестными воплями, и по курящейся призрачными свитками тумана воде они скользнули в гавань. На всю жизнь запомнила Мэгги эти голоса гудков в тумане, которыми встретила ее Австралия.

Пэдди снес жену с парохода на руках, за ним шли Фрэнк с малышом, Мэгги с чемоданом, и каждый мальчик, устало спотыкаясь, тащил какую-нибудь поклажу. В Пирмонт – название, которое ничего им не говорило, – они прибыли туманным зимним утром, кончался август 1921 года. За огромным железным навесом пристани ждала нескончаемая вереница такси; Мэгги изумленно раскрыла глаза, никогда еще она не видела такого множества автомобилей сразу. Пэдди кое-как втиснул все семейство в одну машину, шофер которой вызвался отвезти их в Народный дворец.

– Место для тебя в самый раз, приятель, – пояснил он. – Вроде гостиницы для рабочего человека, а хозяйки там из Армии спасения.

Улицы кишели автомобилями, мчащимися, кажется, сразу во все стороны; лошадей почти не было видно. Из окон такси ребята Клири восторженно смотрели на высоченные кирпичные дома, на узкие извилистые улицы, их поражало, как быстро собирались и вновь рассеивались толпы, будто исполняя некий странный городской обряд. Веллингтон внушил им почтение, но перед Сиднеем и Веллингтон казался просто захолустным городишкой.

Пока Фиона отдыхала в одной из бесчисленных ячеек огромного улья – дома Армии спасения, любовно именуемого Народным дворцом, Пэдди собрался на Центральный вокзал узнать, когда будет поезд до Джиленбоуна. Мальчики уже совсем пришли в себя и запросились с ним: они прослышали, что это не очень далеко и по дороге полно магазинов, в том числе лавка, где торгуют засахаренным морским луком. Пэдди уступил, завидуя их мальчишеской прыти, сам он после трех дней морской болезни еще не очень уверенно держался на ногах. Фрэнк и Мэгги остались возле Фионы и малыша, им тоже очень хотелось пойти, но куда важнее им было, чтобы полегчало матери. Впрочем, на твердой земле силы быстро к ней возвращались, она выпила чашку бульона, принесенного ангелом-хранителем в чепце, и даже пощипала ломтик поджаренного хлеба. И тут вернулся Пэдди.

– Если мы не поедем сегодня, Фиа, следующего прямого поезда ждать целую неделю, – сказал он. – Как скажешь, под силу тебе двинуться нынче же вечером?

Фиа, вздрагивая, села.

– Ничего, как-нибудь справлюсь.

– По-моему, надо подождать, – смело вмешался Фрэнк. – Мама еще, по-моему, очень слаба для дороги.

– Ты, видно, не понимаешь, Фрэнк, если мы упустим нынешний поезд, придется целую

неделю жить тут, в Сиднее, нет у меня на это денег. Австралия – страна большая, туда, куда нам надо, поезда не каждый день ходят. Завтра есть три поезда на Даббо, но там надо будет ждать местного, и мне сказали, мы так больше намучаемся, лучше уж поднатужиться и поехать нынче прямым.

– Я справлюсь, Пэдди, – повторила Фиа. – При мне Фрэнк и Мэгги, ничего со мной не случится.

Взглядом она умоляла Фрэнка молчать.

– Тогда я сейчас отправлю телеграмму, чтоб Мэри ждала нас завтра вечером.

Центральный вокзал был громаден, в такое здание им попадать еще не случалось – исполинский стеклянный цилиндр словно бы и отзывался эхом, и в то же время поглощал шум и голоса тысяч людей, что ждали подле своих потрепанных, перехваченных ремнями или веревками чемоданов, не сводя глаз с большой доски-указателя, на которой служащие при помощи длинных шестов меняли сведения о поездах. В густеющих сумерках семейство Клири слилось с толпой, все глаза прикованы были к железной решетке – раздвижным воротам, ведущим на платформу номер пять. Сейчас ворота были закрыты, но на них висела доска с надписью, выведенной от руки: «Джилленбоунский почтовый». На платформах номер один и номер два поднялась суматоха, возвещающая о близком отправлении вечерних скорых на Брисбен и Мельбурн, и пассажиры хлынули наружу. Скоро настал и черед Клири – створки ворот перед пятой платформой сложились гармошкой, и народ заторопился на перрон.

Пэдди отыскал свободное купе второго класса, усадил старших мальчиков к окнам, а Фиону, Мэгги и малыша – у двери; дверь отодвигалась в сторону, и за ней был длинный коридор, соединявший все купе. В окно заглядывали с платформы, надеясь найти незанятое место, и сразу шарахались при виде такого множества детворы. Иногда и у большой семьи есть свои преимущества.

Ночь была холодная, пришлось отвязать от чемоданов прикрученные к ним сбоку дорожные пледы; вагон не отапливался, но от расставленных на полу железных ящиков с горячими угольями шло тепло, а отопления в поезде никто и не ждал – ни в Австралии, ни в Новой Зеландии его никогда не бывало.

– Пап, а нам далеко ехать? – спросила Мэгги, когда поезд тронулся, постукивая и покачиваясь на бесчисленных стыках рельс.

– Гораздо дальше, чем видно было по нашему атласу, Мэгги. Шестьсот десять миль. Будем на месте завтра поздно вечером.

Мальчишки ахнули, но тут же обо всем забыли, замороженные: снаружи расцвела огнями сказочная страна; они прильнули к окнам, летела миля за милей, а перед глазами все мелькали дома. Потом поезд еще ускорил бег, огни поредели и наконец исчезли, только мчались мимо уносимые воющим ветром искры. Потом Пэдди вышел с мальчиками в коридор, чтобы Фиа могла накормить малыша, и Мэгги с грустью посмотрела им вслед. Видно, прошло то время, когда можно было не разлучаться с братьями, после рождения Хэла вся ее жизнь перевернулась, и она прикована к дому совсем как мама. А впрочем, она не в обиде, подумала Мэгги – преданная старшая сестра. Малыш такой славный, он – самая большая ее радость, и еще так приятно, что мама теперь обращается с ней как со взрослой. Совершенно неизвестно, отчего рождаются дети, но маленький Хэл – прелесть. Она подала его матери; вскоре поезд остановился и стоял целую вечность, пыхтя от усталости. Мэгги ужасно хотелось открыть окно и выглянуть, но в купе, несмотря на ящики с угольями, становилось все холоднее.

Вошел Пэдди, принес Фионе чашку горячего чая, и она отложила сытого сонного Хэла на скамью.

– Где мы стоим? – спросила она.

– Это место называется Верхняя долина. Буфетчица сказала, тут нам прицепят второй паровоз, иначе не одолеть подъем до Литгоу.

– А я успею выпить этот чай?

– Есть еще пятнадцать минут. Фрэнк сейчас принесет тебе сэндвичи, а я пригляжу, чтобы все мальчишки поели. В следующий раз можно будет поесть только поздно вечером на станции Блэйни.

Мэгги выпила пополам с матерью горячий сладкий чай и наспех проглотила кусок хлеба с маслом, который принес Фрэнк, ею вдруг овладело нестерпимое волнение. Фрэнк уложил ее на длинной скамье в ногах у маленького Хэла, укутал пледом, потом так же старательно укрыл Фиону, которая вытянулась на скамье напротив. Стюарта и Хьюги уложили на полу между скамьями, но Пэдди сказал жене, что Боба, Фрэнка и Джека уведет в купе немного дальше по коридору, потолкует с едущими там стригаями и там же все они переночуют. В поезде оказалось куда приятнее, чем на пароходе, слышно было, как свистит ветер в телеграфных проводах, под размеренное пыхтение двух паровозов постукивали стальные колеса, а иногда злобно взвизгивали на крутых поворотах, словно вот-вот соскользнут с рельс и отчаянно стараются удержаться; Мэгги уснула.

Утром они застыли у окна, испуганные, встревоженные – никогда они не думали, что такое возможно на одной планете с Новой Зеландией. Правда, и тут расстилалась холмистая равнина, но ничто, ничто больше не напоминало о родных краях. Все какое-то бурое и серое, даже деревья! Под ослепительным солнцем уже изжелта серебрилась озимая пшеница, зыбились и клонились на ветру колосья, лишь кое-где среди нескончаемых полей вставала рощица высоких тощих деревьев с голубоватой листвой или чахлая поросль пропыленных серых кустиков.

Фиона смотрела на эту картину со стоическим спокойствием, не меняясь в лице, но бедная Мэгги чуть не плакала. Что за ужас эта пустыня, ни единой живой изгороди, ни пятнышка зелени...

Солнце поднималось все выше, и холод ночи сменился палящим зноем, а поезд с грохотом неся все дальше и дальше, лишь изредка останавливаясь в каком-нибудь крохотном городишке, где полно было велосипедов и конных повозок, но почти не было заметно автомобилей. Пэдди открыл, насколько возможно, оба окна, хотя в них и летела и все покрывала сажа; они задыхались от жары, потели в плотной одежде, рассчитанной на новозеландскую зиму, кожа зудела. Казалось, только в аду может стоять зимой такая жара.

В Джиленбоун приехали уже на закате, это оказалось престранное место – горсточка ветхих деревянных домов и построек из рифленого железа, всего одна широкая улица, пыльная, унылая, нигде ни дерева. Заходящее солнце мазнуло по всему этому золотой кистью и на миг облагородило, но приезжие еще не сошли с перрона, а позолота уже померкла. И опять перед ними зауряднейший поселок в дальней дали, на глухой безвестной окраине – последний очаг цивилизации на самом краю плодородных земель; чуть западнее раскинулось на две тысячи миль безлюдье, безводная пустыня Невер-Невер, где никогда не бывает дождя.

Возле станции стоял великолепный черный автомобиль, и, преспокойно шагая по толстому слою пыли, к семейству Клири приближался католический священник. В своей

длинной сутане он словно вышел из прошлого, и казалось, не переступает ногами, как все люди, но плывет по воздуху, точно сновидение; пыль вздымалась и клубилась вокруг него и алела в последних лучах заката.

— Здравствуйте, я пастырь здешнего прихода де Брикассар, — сказал он Пэдди и протянул руку. — Вы, очевидно, брат Мэри; вы с ней похожи как две капли воды. — Он обернулся к Фионе, поднес ее слабую руку к губам, в улыбке его было неподдельное удивление: отец Ральф с первого взгляда умел отличить женщину благородного происхождения. — О, да вы красавица! — сказал он, словно такой комплимент в устах священника звучит как нельзя естественнее; потом глаза его обратились на тесную кучку сыновей Клири. Мгновение он озадаченно смотрел на Фрэнка с малышом на руках, потом оглядел одного за другим мальчиков, от старших к младшим. Позади них, на отшибе, стояла Мэгги и смотрела на него, приоткрыв рот, будто на самого Господа Бога. Словно не замечая, что пачкает в пыли тонкую шелковую сутану, отец Ральф прошел мимо мальчиков, присел на корточки перед Мэгги и взял ее за плечи, руки у него были крепкие, добрые и ласковые.

— Ну, а ты кто такая? — спросил он с улыбкой.

— Мэгги, — ответила она.

— Ее зовут Мэггенн, — сердито буркнул Фрэнк, он сразу возненавидел этого на удивление рослого статного красавца.

— Мэггенн — мое любимое имя. — Отец де Брикассар выпрямился, но руку Мэгги не выпустил. — Вам лучше сегодня переночевать у меня, — сказал он, ведя Мэгги к машине. — Завтра утром я отвезу вас в Дрохеду; это слишком далеко, а вы только-только с поезда.

Помимо гостиницы «Империял», в Джиленбоуне из кирпича построены были католическая церковь и при ней школа, монастырь и дом священника; даже большая городская школа скромно размещалась в дощатых стенах. С наступлением сумерек вдруг резко похолодало; но тут, в гостиной, жарко пылали в огромном камине поленья и откуда-то из глубины дома тянуло вкуснейшими запахами. Экономка, сморщенная, сухонькая, на диво живая и проворная шотландка, развела всех по комнатам, ни на минуту при этом не умолкая.

Семейство Клири, привыкшее к холодной неприступности уэхайнских пастырей, никак не могло освоиться с веселым, непринужденным добродушием отца Ральфа. Один Пэдди сразу оттаял, он еще не забыл дружелюбных священнослужителей родного Голуэя, которые не чуждались своей паствы. Остальные за едой осторожно помалкивали и после ужина поспешили улизнуть наверх. Пэдди нехотя последовал за ними. Он-то в своей католической вере обретал тепло и утешение; но остальных членов семьи она только держала в страхе и покорности: поступай, как велено, не то будешь проклят вовеки.

Когда они ушли, отец Ральф откинулся в своем излюбленном кресле; он покуривал, смотрел в огонь и улыбался. Перед его мысленным взором снова проходили один за другим все Клири, какими он увидел их в первые минуты на станции. Глава семьи, удивительно похожий на Мэри, но согнутый тяжелым трудом и в отличие от сестры, по природе явно не злой; его красивая измученная жена — ей впору бы выйти из элегантной коляски, которую примчала пара белых лошадей; хмурый Фрэнк, у него черные волосы и глаза черные... глаза — черные! Другие сыновья все в отца, только младший, Стюарт, очень похож на мать, вот кто будет красив, когда вырастет; что получится из младенца, пока неизвестно; и, наконец, Мэгги. Премилая, очаровательная девчурка; волосы такого цвета, что не передать словами — не медно-рыжие и не золотые, какой-то редкостный сплав того и другого. И как она подняла на него серебристо-серые глаза, изумительно чистые, сияющие, точно растаявшие

жемчужины. Отец Ральф пожал плечами, бросил окурок в камин и поднялся. Видно, он стареет, вот и разыгрывается воображение; растаявшие жемчужины, не угодно ли! Вот у него, наверное, глаза сдают от вечной пыли и песка.

Наутро он повез гостей в Дрохеду; они уже освоились с видом этой новой, незнакомой земли и очень забавляли де Брикассара, высказывая вслух свои впечатления. Последние холмы остались на двести миль восточнее, объяснил он им, а здесь раскинулась черноземная равнина. Просторы почти безлесные, луга, ровные и гладкие, как доска. День настал такой же знойный, как накануне, но ехать в «даймлере» было куда удобнее, чем в поезде. Выехали спозаранку, натошак, в черном чемодане сложены были облачение отца Ральфа и святые дары.

– Овцы тут грязные, – огорчилась Мэгги, глядя, как сотни рыжевато-серых шерстяных клубков тычутся носами в траву.

– Да, видно, надо было мне поселиться в Новой Зеландии, – вздохнул отец Ральф. – Должно быть, она похожа на Ирландию, и овцы там беленькие и чистенькие.

– Это верно, с Ирландией там много похожего. И трава такая же зеленая, любо смотреть. Только места более дикие, земли невозделанные, – отозвался Пэдди. Отец Ральф пришелся ему очень по душе.

И тут из травы тяжело поднялись несколько страусов эму и помчались как ветер, вытянув длинные шеи, неразлично быстро перебирая нескладными голенастыми ногами. Мальчики ахнули от изумления, потом расхохотались: вот чудеса, какие огромные птицы – и не летают, а бегают!

– Как приятно, что мне не приходится вылезать и открывать эти злосчастные ворота, – сказал отец Ральф, когда Боб, который проделывал это вместо него, закрыл за «даймлером» последние ворота и опять забрался в машину.

После стольких неожиданностей, которыми, не давая передышки, ошеломляла их Австралия, в усадьбе с приветливым домом в георгианском стиле, обвитым едва зацветающей глицинией и окруженным несчетными кустами роз, им почудилось что-то родное.

– Вот тут мы будем жить? – пискнула Мэгги.

– Не совсем, – поспешно сказал отец Ральф. – Вы будете жить в доме у реки, примерно за милю отсюда.

Мэри Карсон ждала их в большой гостиной, она сидела в своем глубоком кресле и не поднялась навстречу брату, пришлось ему подойти к ней через всю комнату.

– Здравствуй, Пэдди, – сказала она довольно любезно, но смотрела при этом мимо: взгляд ее прикован был к отцу Ральфу, тот стоял с девочкой на руках, маленькие руки обвились вокруг его шеи.

Мэри Карсон величественно поднялась, ни с Фионой, ни с детьми она здороваться не стала.

– Давайте сейчас же послушаем мессу, – сказала она. – Отец де Брикассар, без сомнения, спешит.

– Нисколько, дорогая Мэри. – Он засмеялся, синие глаза его весело блестели. – Я отслужу мессу, вы угостите нас отличным горячим завтраком, а после этого я обещал показать Мэгги, где она будет жить.

– Мэгги, – повторила Мэри Карсон.

– Да, ее зовут Мэгги. Но пожалуй, знакомство начинается не с того конца? Разрешите

мне представить всех по порядку, Мэри. Это Фиона.

Мэри Карсон коротко кивнула и почти не слушала, как отец Ральф одного за другим называет ей мальчиков: она неотрывно следила за священником и Мэгги.

Дом старшего овчара стоял на сваях, футов на тридцать возвышаясь над узким ущельем, густо окаймленным плакучими ивами, среди которых кое-где высились одинокие эвкалипты. После великолепия Дрохеды он казался голым и скучным – крыша над головой, и только, зато он был удобный и этим напоминал прежний их дом в Новой Зеландии. И в комнатах полным-полно солидной викторианской мебели, которую покрывала тончайшая красноватая пыль.

– Вам повезло, тут есть даже ванная, – сказал отец Ральф, ведя приезжих по деревянным ступеням к передней веранде; подъем оказался не маленький; сваи, на которых стоял дом, были вышиной в пятнадцать футов. – Это на случай половодья, – пояснил отец Ральф. – Вы тут над самой речкой, а я слышал, иной раз вода за одну ночь поднимается на шестьдесят футов.

И правда, здесь имелаась ванная: старая жестяная ванна и дровяная колонка помещались в огороженном конце задней веранды. Но, к брезгливому удивлению Фионы и Мэгги, уборная была просто ямой, вырытой в каких-нибудь двухстах шагах от дома, и от нее исходило зловоние. После Новой Зеландии это казалось дикостью.

– Видно, не слишком чистоплотные люди здесь жили, – заметила Фиона, проводя пальцем по пыльному буфету.

Отец Ральф засмеялся.

– Не пробуйте бороться с пылью, вам ее не победить, – сказал он. – Здесь, на краю света, у вас три неодолимых врага – жара, пыль и мухи. Как бы вы ни старались, вам от них не избавиться.

Фиона подняла на него глаза:

– Вы очень добры к нам, ваше преподобие.

– Как же иначе? Вы – единственные родные моего доброго друга Мэри Карсон.

Фиона слегка пожала плечами:

– Я не привыкла к дружескому отношению служителей церкви. В Новой Зеландии они держатся очень обособленно.

– Вы ведь не католичка?

– Нет. Пэдди – католик. Дети, естественно, все до единого воспитаны в католической вере, пусть это вас не беспокоит.

– Я и не думал беспокоиться. А вам это неприятно?

– Право, мне все равно.

– Сами вы не обратились в католическую веру?

– Я не лицемерка, отец де Брикassar. Я утратила веру в ту церковь, к которой принадлежала, и не желала обращаться к другой религии, столь же бессмысленной.

– Понимаю. – Священник следил глазами за Мэгги; стоя на передней веранде, она вглядывалась в дорогу, ведущую наверх, к большому дому хозяйки Дрохеды. – Очень хорошенькая у вас дочка. У меня, знаете, слабость к тициановским волосам. У нее они такие,

что Тициан сразу схватился бы за кисти. Никогда прежде не видел точно такого оттенка. Дочь у вас только одна?

– Да. И у меня, и у Пэдди в роду больше все мальчики, девочки у нас редкость.

– Бедняжка, – непонятно сказал отец де Брикассар.

Потом из Сиднея прибыл багаж, расставлены были по местам книги, посуда, кое-какие украшения, а в гостиной – клавесин и другие вещи Фионы, и в доме стало привычнее, жизнь понемногу входила в колею. Пэдди и мальчики, кроме младшего, Стюарта, почти все время проводили с двумя работниками, которых Мэри Карсон задержала на ферме, чтобы они обучили приезжих хозяйничать, ведь на северо-западе Нового Южного Уэльса овцеводство поставлено совсем не так, как в Новой Зеландии. А Фиа, Мэгги и Стюарт убедились – хозяйничать в доме старшего овчара Дрохеда совсем не то, что в прежнем их доме в Новой Зеландии; подразумевалось, что беспокоить Мэри Карсон ни в коем случае не следует, но ее экономка и остальные служанки так же рады были помочь женской половине семейства Клири, как работники фермы – Падрику и его сыновьям.

Скоро оказалось, что Дрохеда – нечто обособленное, самодовлеющее, отрезанное от всего цивилизованного мира, и даже Джиленбоун понемногу стал всего лишь названием, от него мало что осталось в памяти. Границы огромной усадьбы вмещали и конюшни, и кузницу, и гаражи, и множество хозяйственных построек, где хранились всяческие запасы и припасы, от провизии до инструментов и машин; тут и псарня, собачий питомник, сложный лабиринт скотных дворов, гигантская стригальня, где могут работать сразу ни много ни мало двадцать шесть стригалей, и за ней еще головоломная путаница всяческих хозяйственных дворов. Тут птичники, свинарники, коровники с помещениями для дойки, маслодельня, жилища для двадцати шести стригалей, хибарки для сезонников, еще два дома вроде отведенного семье Клири, но поменьше, для других овчаров, барак для новичков, бойня и нескончаемые штабеля дров.

Все это размещается примерно посередине круглой луговины трех миль в поперечнике и называется «Главная усадьба». Лишь в одной точке, у дома старшего овчара, это скопище разномастных построек почти вплотную примыкает к лесу. Однако и между сараями, дворами и выгонами растет немало деревьев, они дарят такую необходимую и отрадную тень; по большей части это перечные деревья – огромные, могучие, с густой, дремотной, чудесной листвой. А за ними, в высокой траве приусадебного выгона, лениво пасутся лошади и молочные коровы.

По дну глубокого оврага возле дома, где поселились Клири, вяло струится мелкая, мутная неспешная речонка. Невозможно поверить рассказу отца Ральфа, будто она иногда за одну ночь поднимается на шестьдесят футов. Воду для ванной и кухни накачивают ручным насосом из этой речушки, и Фиона с Мэгги не скоро привыкли мыться, мыть посуду и стирать в этой зеленовато-бурой воде. На прочных деревянных опорах, похожих на буровые вышки, громоздятся шесть солидных баков рифленого железа, и, когда идет дождь, в них сбегает с крыши вода для питья – выяснилось, что ее нужно очень беречь и ни в коем случае не тратить на стирку. Ведь никто не знает, когда опять пойдет дождь и наполнит баки.

Овец и коров поят водой из артезианского колодца – не из неглубокого, легкодоступного пласта, но из настоящей артезианской скважины, уходящей на глубину больше трех тысяч футов. Вода эта бьет ключом из трубы у так называемого водоема и по узеньким канавкам, окаймленным ядовито-зеленой травой, разбегается во все загоны, сколько их есть в имении.

Это дренажные канавы, и вода в них, насыщенная серой и минеральными солями, для людей не годится.

Поначалу всех Клири ошеломили здешние расстояния: в Дрохеде насчитывается двести пятьдесят тысяч акров. Самая длинная граница имения тянется на восемьдесят миль. От Джиленбоуна до дома Мэри Карсон сорок миль и двадцать семь ворот – и никакого другого жилья не сыщешь ближе чем за сто шесть миль. К востоку владения Мэри Карсон сужаются клином, и границей им служит Баруон – так местные жители называют реку Дарлинг в северном ее течении, – этот огромный мутный поток тянется на тысячу миль и под конец сливается с Мурреем и впадает в Индийский океан за полторы тысячи миль, на самом юге Австралии. Джилен-Крик, речка в ущелье возле теперешнего жилища Клири, впадает в Баруон за две мили от Главной усадьбы.

Падрику и мальчикам сразу полюбились новые места. Случалось, они целые дни проводили в седле, за много миль от дома, и ночевали под открытым небом, таким глубоким, таким звездным, что под ним словно и сам приобщаешься к Богу.

На бурой, непривычного цвета земле кишмя кишит жизнь. Меж деревьями проносятся огромными прыжками тысячные стада кенгуру, шутя перемахивают через изгороди, и нельзя налюбоваться ими, такими легкими в движениях, такими свободными; на равнинах, в высокой траве, гнездятся эму – шагают, точно гиганты часовые, вокруг своих жилищ, но пугаются всего непривычного и убегают быстрее любого коня прочь от своих темно-зеленых яиц величиной с футбольный мяч; термиты возводят башни цвета ржавчины, подобные крохотным небоскреbam; свирепые кусачие муравьи-великаны темными потоками вливаются в похожие на кратеры отверстия в почве.

А птицам всех видов и пород и вовсе нет числа, и живут они не поодиночке и не парами, но многотысячными стаями: крохотные желто-зеленые попугайчики (Фиа называет их неразлучниками), и небольшие ярко-красные, с голубым, и крупные светло-серые попугаи гала с яркой лилово-розовой грудью и такой же головой и подкрыльями, и огромные какаду, белоснежные, с вызывающим ярко-желтым хохолком. Порхают и кружат в воздухе крохотные прелестные зяблики, и воробьи, и скворцы, хохочут и весело хихикают крепкие коричневые зимородки-кукабурра и с разлету подхватывают с земли змей – свое излюбленное лакомство. Во всех этих птицах есть что-то почти человеческое; бесстрашные, они сотнями сидят в ветвях, поглядывая вокруг быстрыми смышленными глазами, трещат, болтают, смеются, подражают всем голосам и звукам на свете.

Страхолюдные ящерицы длиною в пять-шесть футов топают по земле, а потом легкий прыжок – и они уже высоко на дереве; и внизу, и в вышине они чувствуют себя как дома; это гоанны. Водится тут и множество других ящериц, помельче, но подчас не менее страшных с виду; одни, точно динозавры, красуются в ожерельях колючих роговых наростов, другие дразнятся толстыми ярко-синими языками. Змеям самых разных пород и обличий поистине счету нет, и скоро выяснилось, что самые большие и грозные на взгляд обычно наименее опасны, а короткая толстая змейка не длиннее фута может оказаться смертельно ядовитой гадюкой; тут есть и ковровые питоны, медянки, древесные змеи, и черные, краснобрюхие и коричневые, и несущие верную смерть тигровые змеи.

А насекомые! Кузнечики, сверчки, саранча, пчелы, мухи всех видов и размеров, цикады, москиты, стрекозы, огромные мотыльки и всевозможные бабочки! Ужасны пауки – огромные, мохнатые, с лапами длиною в несколько дюймов, и обманчиво маленькие ядовитые черные твари, которые прячутся в отхожем месте; иные живут в огромной круглой,

точно колесо, сети, натянутой меж деревьев, другие качаются в тончайшей, густого плетения, паутинной колыбели, подвешенной к травинкам, третьи зарываются в земляные норы и захлопывают за собой дверку.

Хватает и хищников: дикие кабаны, черные волосатые зверюги ростом с корову, плотоядные, свирепые, ничего на свете не боятся; дикие собаки динго шныряют, крадучись, чуть ли не ползком, и сливаются цветом с травой; стаи воронья уныло каркают, облепляя белесые скелеты иссохших мертвых деревьев; недвижно парят в вышине ястребы и орлы.

От многих хищников надо оберегать коров и овец, особенно в ту пору, когда появляется потомство. Кенгуру и кролики поедают драгоценную траву; кабаны и динго пожирают ягнят, телят, заболевших животных; вороны выклевывают им глаза. Молодым Клири пришлось научиться стрелять, и они стали ездить с ружьями – порой надо покончить с мучениями раненого животного, порой случается подстрелить кабана или динго.

Вот это жизнь! – с восторгом думали мальчики. Никто из них не тосковал о Новой Зеландии; мошкара липла к уголкам глаз, забивалась в ноздри, в рот, в уши, но они научились отпугивать ее, переняв чисто австралийскую уловку – подвесили к полям шляп куски пробки на бечевках. Чтобы ползучая насекомая мелочь не забиралась снизу в их мешковатые штаны, они перевязывали штанины ниже колен ремешками из кенгуровой кожи, назывались эти штуки смешно – тетивашки, но без них было не обойтись. Да, вот она, настоящая жизнь, не то что пресная скука Новой Зеландии!

Их матери и сестре, привязанным к дому, в Австралии нравилось куда меньше, ведь у них не находилось ни досуга, ни предлогов для поездок верхом и все их занятия угнетали однообразием. Одни и те же вечные женские заботы – стряпать, убирать, стирать, гладить, нянчить малыша, только здесь все это труднее. Против тебя жара, пыль и мухи, крутые лестницы, мутная вода, а мужчины вечно в отлучке, и некому принести и нарубить дров, накачать воды, зарезать курицу к обеду. Несноснее всего жара, а ведь только еще начинается весна; и, однако, на тенистой веранде термометр день за днем показывает сто <sup>[3]</sup>. А в кухне, когда топится плита, доходит до ста двадцати.

Одежда всех Клири приспособлена была для Новой Зеландии, где в доме прохладно и надеваешь одно на другое, и все плотное, прилегающее. Мэри Карсон, прогуливаясь, зашла однажды к невестке и окинула надменным взглядом миткалевое платье Фионы, длинное, до полу, с высоким воротом. Сама она была одета по новой моде: кремовое шелковое платье с большим вырезом – свободное, не в талию, и лишь до половины закрывает икры, широкие рукава едва доходят до локтей.

– Право, Фиона, вы безнадежно старомодны, – сказала Мэри, оглядывая гостиную, заново окрашенную кремовой краской, персидские ковры и хрупкую старинную мебель.

– У меня нет времени гнаться за модой, – сказала Фиона резковато, чего в роли хозяйки никогда себе не позволяла.

– Теперь у вас будет больше времени, мужчины ваши вечно в разъездах, не надо кормить столько народу. Укоротите свои платья, перестаньте носить нижние юбки и корсет, не то летом вы умрете. Имейте в виду, будет еще жарче градусов на пятнадцать, на двадцать. – Взгляд Мэри Карсон остановился на портрете белокурой красавицы в кринолине времен императрицы Евгении. – Кто это? – спросила она и показала пальцем.

– Моя бабушка.

– Вот как? И эта обстановка, и ковры?

– Мне подарила бабушка.

– Вот как? Значит, этот брак лишил вас положения в обществе и, наверное, очень многого, дорогая Фиона?

Фиона никогда не теряла самообладания, не потеряла и на этот раз, только плотнее сжала тонкие губы.

– Не думаю, Мэри. У меня хороший муж; вы должны бы это знать.

– Но у него ни гроша. Как ваша девичья фамилия?

– Армстронг.

– Вот как? Неужели родня Родерику Армстронгу?

– Это мой старший брат. Его называли Родериком в честь моего прадеда.

Мэри Карсон поднялась, отмахиваясь нарядной широкополой шляпой от мух, которые не питают почтения даже к столь важным особам.

– Что ж, вы по рождению выше, чем мы, Клири, я готова это признать. Неужели вы настолько полюбили Пэдди, чтобы от всего этого отказаться?

– Почему я так поступила, мое дело, – ровным голосом сказала Фиона. – Вас это не касается, Мэри. Я не намерена обсуждать моего мужа даже с его сестрой.

Складки у губ Мэри Карсон прорезались глубже, она вытаращила глаза.

– Фу-ты ну-ты!

Больше она не появлялась, но ее экономка, миссис Смит, приходила часто – и тоже посоветовала одеть семью по-другому.

– Послушайте, у меня есть швейная машина, она мне совсем не нужна. Я велю двум работникам принести ее к вам. А если мне когда-нибудь понадобится шить, я сама к вам приду. – Глаза ее остановились на маленьком Хэле, который весело катался по полу. – Я люблю слушать детские голоса, миссис Клири.

Раз в полтора месяца конная повозка доставляла из Джиленбоуна почту – вот и вся связь с внешним миром. В Дрохеде имелись два грузовика-«форда», из них один – приспособленный под перевозку водяной цистерны, да еще легковой «форд» и роскошный «роллс-ройс», но, кажется, никто никогда ими не пользовался, в Джилли ездила изредка одна лишь Мэри Карсон. Добираться за сорок миль – все равно что до Луны.

Непоседа Уильямс, окружной почтальон, за полтора месяца еле успевал объехать весь свой округ. Его крытую повозку с плоским верхом, на огромных колесах десяти футов в поперечнике, груженную всякой всячиной, какую только могли заказать самые отдаленные фермы, тащила великолепная упряжка в дюжину ломовых коней. Кроме писем и газет, Уильямс развозил бакалею, бензин в железных бочках на сорок четыре галлона, керосин в четырехугольных пятигаллоновых бидонах, сено, зерно, муку, сахар и картошку мешками, чай в деревянных ящиках, сельскохозяйственные машины, заказанные по почте игрушки и одежду из магазина Энтони Хордерна в Сиднее и вообще все, что только требовалось переправить из Джилли или из далеких больших городов. Лошади двигались мерным шагом, по двадцать миль в день, и где ни останавливался Уильямс, его встречали радушно, расспрашивали про новости, про погоду в дальних краях, вручали аккуратно завернутые в бумажку деньги на новые покупки в Джилли и отдавали старательно написанные письма, которые тут же укладывались в брезентовый мешок с надписью «Почта».

К западу от Джилли на дороге было лишь два больших имения: поближе – Дрохеда, подальше – Бугела; а за Бугелой лежала местность, куда почта попадала только раз в полгода. По громадной извилистой дуге Непоседа объезжал все юго-западные, западные и северо-

западные фермы и возвращался в Джилли, после чего оставалось съездить к востоку – путешествие недлинное, всего миль шестьдесят, дальше действовала уже почта города Буру. Изредка Уильямс кого-нибудь привозил – рядом с ним, на кожаном облучке, ничем не защищенный от солнца, сидел гость или работяга без гроша за душой; иногда он кого-нибудь увозил – гостя или недовольных прежним местом овчаров, горничных, сезонников, редко-редко – гувернантку; у фермеров-скотоводов были для разездов свои машины, но тех, кто работал на фермеров, не только снабжал письмами и товарами, но и выручал транспортом один Непоседа Уильямс.

Когда прибыли с почтой заказанные рулоны материи, Фиа уселась за швейную машину – подарок миссис Смит – и принялась шить свободные платья из светлого ситца для себя и Мэгги, легкие штаны и комбинезоны для мужчин, одежду для Хэла, занавески на окна. Что и говорить, когда скинули плотную облегающую одежду и несколько слоев белья, стало куда прохладнее.

Мэгги жилось одиноко, в доме из мальчиков оставался один Стюарт. Джек и Хьюги разезжали с отцом, учились ходить за овцами – новичков в этом деле здесь называли желторотиками. Стюарт не годился в товарищи для игр, какими были прежде Джек и Хьюги. Маленький, тихий, он жил в каком-то своем отдельном мире, мог бы часами сидеть на одном месте и смотреть, как непрерывной вереницей взбираются на дерево муравьи, а Мэгги любила сама лазить по деревьям и с восторгом жевала смолу: ее в Австралии так много, и вся разная! Но, по правде сказать, не очень-то они успевали лазить по деревьям или любоваться муравьями. И у Мэгги, и у Стюарта работы было по горло. Они кололи и таскали дрова, копали ямы для отбросов, гнули спину на огороде и присматривали за курами и свиньями. И к тому же учились убивать змей и пауков, хотя так и не перестали их бояться.

Несколько лет кряду дождей выпадало почти достаточно; в речке воды было мало, но в цистернах примерно до половины. И трава еще неплохая, хотя далеко не такая сочная, как в лучшие времена.

– Наверное, будет хуже, – мрачно предсказала Мэри Карсон.

Но прежде настоящей засухи им довелось испытать наводнение. В середине января эти места задело южным крылом налетающих с северо-запада муссонов. Эти могучие ветры бесконечно коварны и изменчивы. Порой они приносят летние ливни лишь на краешек австралийского материка, а порой врываются глубоко, до самого Сиднея, и одевают злосчастных горожан дождливым летом. На этот раз в январе небо внезапно затянули черные набрякшие тучи, ветер рвал их в клочья, и хлынул дождь – не быстрый проливной дождик, но дождь упорный, яростный, сущий потоп, и не было ему конца.

Их предостерегли заранее; явился Непоседа Уильямс с повозкой, нагруженной до отказа, и с дюжиной запасных лошадей – он спешил снабдить округу всем необходимым, пока дожди не отрезали путь к дальним фермам.

– Идут муссоны, – сказал он, свертывая самокрутку, и кнутом показал на груды провизии, припасенной сверх обычного. – Реки, того гляди, выйдут из берегов – и Купер, и Барку, и Дайамантина, а Разлив уже разлился. Весь Квинсленд на два фута покрыло водой, они там, бедняги, ищут хоть какой холмик, куда бы повыше загнать овец.

Внезапно поднялась сдерживаемая тревога; Пэдди и мальчики работали как бешеные, переводили овец с низинных выгонов как можно дальше от своей речки и от Баруона. Приехал отец Ральф, оседлал свою лошадь и вместе с Фрэнком и лучшими собаками поспешил на выгоны, лежащие по берегу Баруона, а Пэдди и оба овчара, прихватив по одному

из мальчиков, разъехались каждый в свою сторону.

Отец Ральф и сам был превосходный овчар. Он ехал на чистокровной каурой кобыле – подарке Мэри Карсон – в светло-коричневых безупречного покроя брюках для верховой езды, в коричневых, начищенных до блеска высоких сапогах, в белоснежной рубашке, рукава закатаны и открывают мускулистые руки, ворот распахнут и открывает гладкую загорелую грудь. Фрэнк в серой фланелевой нижней рубашке и старых мешковатых штанах из серой саржи, перетянутых ниже колен ремешками, чувствовал себя жалким ничтожеством. Да так оно и есть, сердито подумал он, проезжая за стройным всадником на изящной лошадке среди самшитов и сосен заречной рощи. Под Фрэнком была норовистая пегая племенная кобыла, злобная, упрямая скотина, которая люто ненавидела всех других лошадей. Взбудораженные собаки лаяли, прыгали, рычали друг на друга и сцепились было, но присмирели, когда отец Ральф безжалостно и метко хлестнул по ним пастушьим кнутом. Казалось, этот человек умеет все на свете, он знал, как свистом подать собакам любую команду, и кнутом владел куда лучше Фрэнка, который только еще учился этому редкостному искусству австралийских пастухов.

Громадный свирепый квинслендский пес-вожак проникся преданной любовью к отцу Ральфу и покорно следовал за ним, явно не считая Фрэнка хозяином. Фрэнка это почти не обижало; из сыновей Пэдди ему одному не полюбилась жизнь в Дрохеде. Он отчаянно рвался из Новой Зеландии – но вовсе не за тем, что нашел здесь. Он возненавидел нескончаемые объезды выгонов и эту жесткую землю, на которой приходилось спать чуть не каждую ночь, и этих злобных псов – их не приласкаешь, и если они плохо несут свою пастушью службу, их пристреливают.

Но ехать верхом, когда над головой сгущаются тучи, – это уже пахнет приключением; и даже деревья не просто со скрипом гнутся под порывами ветра, но будто приплясывают в диком веселье. Отец Ральф неутомим, точно одержимый, подстрекает и горячит собак, напускает на рассеянных по равнине ничего не подозревающих овец, быстрые тени стелются в траве, гонят перед собой безмозглые клубки шерсти – и те скачут, блеют в страхе и, наконец сбитые в кучу, бегут куда надо. Не будь собак, горсточке людей нипочем бы не управиться с таким огромным именем, как Дрохеда; специально обученные пасти коров и овец, эти псы на диво умны и почти не нуждаются в приказаниях.

К ночи отец Ральф с помощью собак и Фрэнка, который тянулся за ними как мог, вывел с одного выгона всех овец – обычно на эту работу уходит несколько дней. У ворот второго выгона, где росли несколько деревьев, он расседлал свою кобылку и сказал бодро, что, пожалуй, они и с этого участка сумеют вывести стадо прежде, чем хлынет дождь. Собаки, высунув языки, растянулись в траве, свирепый квинслендец-вожак раболепно льнул к ногам священника. Фрэнк вытащил из переметной сумы мерзкого вида куски кенгурового мяса, швырнул собакам, и они, огрызаясь и оттирая друг друга, накинулись на еду.

– Паршивое зверье, – сказал Фрэнк. – Прямо шакалы какие-то, порядочные собаки так себя не ведут.

– Мне кажется, Господь Бог скорее всего задумал собак именно такими, – мягко возразил отец Ральф. – Они проворны, умны, воинственны, и их почти невозможно приручить. Мне они, признаться, больше по вкусу, чем балованные комнатные собачки. – Он улыбнулся. – Вот и кошки тоже. Вы видели, какие кошки на скотном дворе? Дикие, злобные, сущие пантеры; ни за что не подпустят к себе человека. Но охотятся превосходно и вовсе не нуждаются, чтобы люди их опекали и кормили.

Он извлек из своей переметной сумы кусок холодной баранины, хлеб, масло, отрезал ломоть баранины, остальную протянул Фрэнку. Положил хлеб и масло на бревно между ними и с явным наслаждением впился белыми зубами в мясо. Жажду утолили из брезентовой фляжки, потом свернули по самокрутке.

Неподалеку стояло одинокое дерево вилга; отец Ральф указал на него самокруткой.

– Вот место для ночевки, – сказал он, снял с лошади седло, отвязал одеяло.

Фрэнк пошел за ним к вилге – дереву, которое считают самым красивым в этой части Австралии. Крона его почти круглая, листва светло-зеленая, очень густая. Ветви спускаются совсем низко, их легко достают овцы, и потому снизу каждое дерево как бы подстрижено ровно-ровно, будто живая изгородь в саду. Вилга всего надежнее укроет от дождя, ведь у других деревьев Австралии листва не такая густая, как в землях, которые богаче влагой.

Отец Ральф вздохнул, лег и приготовился снова закурить.

– Вы несчастливы, Фрэнк, я не ошибаюсь? – спросил он.

– А что это такое – счастье?

– Сейчас счастливы ваш отец и братья. А вы, ваша мама и сестра – нет. Вам не нравится в Австралии?

– Здесь – нет. Я хочу перебраться в Сидней. Может, там я сумею чего-то добиться.

– В Сидней? Но ведь это гнездилище порока, – улыбнулся отец Ральф.

– Ну и пускай! Тут я связан по рукам и ногам, все равно как было в Новой Зеландии; никуда от него не денусь.

– От него?

Но у Фрэнка это вырвалось ненароком, и он не желал продолжать. Лежал и смотрел вверх, на листья.

– Сколько вам лет, Фрэнк?

– Двадцать два.

– Вот как! А вы когда-нибудь жили отдельно от родных?

– Нет.

– Ходили когда-нибудь на танцы? Была у вас подружка?

– Нет.

Фрэнк не желал прибавлять, как положено, «ваше преподобие».

– Тогда он, наверное, скоро вас отпустит.

– Он меня не отпустит, пока я жив.

Отец Ральф зевнул, улегся поудобнее.

– Спокойной ночи, – сказал он.

Утром тучи спустились еще ниже, но дождя все не было, и за день они вывели овец еще с одного выгона. Через всю землю Дрохеды, с северо-востока на юго-запад, тянулась гряда невысоких холмов – на этих-то выгонах и собирали сейчас стада, тут можно будет искать убежища от воды, если реки выйдут из берегов.

Дождь начался уже к ночи, и Фрэнк со священником рысью пустились к броду через речку пониже дома Клири.

– Не жалейте лошадь, сейчас не до того! – крикнул отец Ральф. – Гоните вовсю, не то потонете в грязи!

В считанные секунды они вымокли до нитки – и так же мгновенно размокла прокаленная зноем почва. Она ничуть не впитывала влагу и обратилась в море жидкой грязи, лошади еле переступали в ней, увязая чуть не по колено. По траве еще удавалось двигаться

быстро, но ближе к реке, где все давно вытоптал скот, всадникам пришлось спешиться. Без седоков лошади пошли легче, но Фрэнк не держался на ногах. Это было хуже всякого катка. На четвереньках они карабкались вверх по крутому берегу, скользили и снова скатывались обратно. Мощенную камнем дорогу неторопливая вода обычно покрывала на месте переправы едва на фут, а сейчас тут мчался пенный поток в четыре фута глубиной; Фрэнк вдруг услышал – священник смеется. Лошадей подбадривали криками, хлопали по бокам насквозь промокшими шляпами, и они в конце концов благополучно выбрались на другой берег, но Фрэнку и отцу Ральфу это не удавалось. Опять и опять они пытались одолеть косогор и всякий раз сползали вниз. Отец Ральф предложил залезть на иву, но тут Пэдди, встревоженный появлением лошадей без седоков, подоспел с веревкой и втащил их наверх.

Пэдди пригласил отца Ральфа зайти к ним, но тот улыбнулся и покачал головой.

– Меня ждут в Большом доме, – сказал он.

Мэри Карсон слышала его голос прежде, чем кто-либо из прислуги, – он обошел дом кругом, рассчитав, что с парадного хода легче попадет в отведенную ему комнату.

– Ну нет, в таком виде вы не войдете, – сказала она ему с веранды.

– Тогда сделайте одолжение, дайте мне несколько полотенец и мой чемодан.

Нисколько не смущаясь, она стояла у полуоткрытого окна гостиной и смотрела, как он стянул мокрую рубашку, сапоги, брюки и стирает с себя жидкую грязь.

– Никогда не видела мужчины красивее вас, Ральф де Брикассар, – сказала она. – Почему среди священников так много красавцев? Ирландская кровь сказывается? Ирландцы ведь красивый народ. Или красивые мужчины ищут в сане защиту, ведь такая наружность осложняет жизнь? Ручаюсь, все девчонки в Джилли чахнут от любви к вам.

– Я давно уже научился не обращать внимания на влюбчивых девиц, – засмеялся он. – Некоторые способны влюбиться во всякого священника моложе пятидесяти, а если священнику нет тридцати пяти, в него, как правило, влюблены все. Но откровенно соблазнить меня пытаются только протестантки.

– О чем вас ни спросишь, ответа начистоту не жди – так? – сказала Мэри Карсон. Выпрямилась и положила ладонь ему на грудь. – Вы сибарит, Ральф, вы принимаете солнечные ванны. Что же, у вас всюду такой загар?

Он с улыбкой наклонился, усмехнулся ей в волосы, расстегнул полотняные кальсоны; они соскользнули наземь, он отбросил их ногой и стоял, точно статуя, изваянная Праксителем, а Мэри обошла его и неторопливо осмотрела со всех сторон.

События последних двух дней веселили его, развеселила и внезапная мысль – а ведь Мэри Карсон, пожалуй, гораздо уязвимее, чем он воображал! Однако он неплохо знал ее и потому бесстрашно спросил:

– Вы что же, Мэри, хотите, чтобы я занялся с вами любовью?

Она оглядела вяло поникший знак его мужского достоинства, насмешливо фыркнула:

– И в мыслях не было так вас утруждать! А вам нужна женщина, Ральф?

Он презрительно вскинул голову:

– Нет!

– Мужчина?

– Они еще хуже, чем женщины. Нет, никто мне не нужен.

– Так что же, обходитесь сами?

– Ни малейшего желания.

– Любопытно. – Она шагнула обратно в гостиную. – Ральф, кардинал де Брикассар! –

съехидничала напоследок. Но, уйдя от его пронизательного взгляда, сникла в своем глубоком кресле, стиснула кулаки, охваченная бессильной злобой на капризы судьбы.

Отец Ральф, обнаженный, сошел с веранды на подстриженный газон и остановился – руки закинута за голову, веки сомкнуты; он подставлял все тело теплым, вкрадчивым, покалывающим струйкам дождя, и они чудесно ласкали незащищенную кожу. Стало совсем темно. Но в нем сохранялось все то же вялое спокойствие.

Речка вышла из берегов, сваи, на которых стоял дом Пэдди, все глубже уходили в воду, она подкрадывалась по Главной усадьбе к Большому дому.

– Завтра начнет спадать, – сказала Мэри Карсон, когда встревоженный Пэдди пришел сказать ей об этом.

Как всегда, она оказалась права: на следующей неделе вода понемногу убывала и наконец вернулась в обычное русло. Выглянуло солнце, воздух раскалился до ста пятнадцати в тени, и трава будто взлетела в небо – высокая, чуть не по пояс, свежая, сверкающая бледным золотом так, что слепило глаза. Блестела отмытая от пыли листва деревьев, вернулись орды попугаев, которые неведомо где укрывались во время дождя, – теперь они снова мелькали в ветвях всеми цветами радуги и тараторили пуще прежнего.

Отец Ральф возвратился к своей заброшенной было пастве, невозмутимый и довольный: выговор за отлучку ему не грозит, ведь у самого сердца, под белой священнической сорочкой, покоится чек на тысячу фунтов. Епископ будет в восторге.

Овец перегнали обратно на пастбища, и семейству Клири пришлось выучиться обычаю здешнего края – сиесте. Вставали в пять утра, заканчивали все дела к полудню и валились без сил, обливались потом, ворочались и не находили себе места до пяти вечера. Так было и с женщинами в доме, и с мужчинами на выгонах. Работа, которую нельзя было сделать до полудня, заканчивалась после пяти, ужинали после захода солнца, стол был выставлен на веранду. Постели тоже пришлось вытащить из дому, потому что жара не спадала и к ночи. Кажется, ртуть уже целую вечность ни днем, ни ночью не опускалась ниже ста. Про говядину и думать забыли, в пищу годились только барашки поменьше – их успевали съесть, пока мясо не испортится. И все жаждали разнообразия, всем опостытели вечные бараньи отбивные, тушеная баранина, пастуший пирог из бараньего фарша, баранина под соусом карри, жареная баранья нога, баранина с пряностями, вареная, соленая, баранина во всех видах.

Но в начале февраля жизнь Мэгги и Стюарта круто изменилась. Их отослали в Джиленбоун, в монастырскую школу с пансионом, потому что ближе учиться было негде. Хэл, когда подрастет, будет учиться заочно, в школе, которую устроили доминиканцы в Сиднее, сказал Пэдди, но Мэгги и Стюарт привыкли к учителям, и Мэри Карсон великодушно предложила платить за пансион и учение в монастыре Креста Господня. Притом у Фионы слишком много хлопот с маленьким Хэлом, некогда ей следить еще и за тем, как они учатся. С самого начала подразумевалось, что образование Джека и Хьюги закончено: Дрохеде они нужны были для работы на земле, а им только того и хотелось.

Странной показалась Мэгги и Стюарту после Дрохеды, а главное – после школы Пресвятого Сердца в Уэхайне мирная жизнь в монастыре Креста Господня. Отец Ральф тонко дал монахиням понять, что эти двое детей – его подопечные, а их тетка – самая богатая женщина в Новом Южном Уэльсе. И вот застенчивость Мэгги преобразилась из порока в добродетель, а Стюарт своей необычайной отрешенностью, привычкой часами смотреть куда-то в невообразимую даль заслужил прозвище «маленького святого».

Да, тут жилось очень мирно, потому что пансионеров было совсем мало: жители округа, достаточно богатые, чтобы учить своих отпрысков в закрытой школе с пансионом, неизменно предпочитали посылать их в Сидней. В джилленбоунском монастыре пахло лаком и цветами, в полутемных коридорах с высокими сводами обдавало тишиной и явственно ощутимым благочестием. Все говорили вполголоса, жизнь проходила словно за тончайшей черной вуалью. Детей никто не лупил тростью, никто на них не кричал, и притом был на свете отец Ральф.

Он постоянно навещал их и так часто брал к себе домой, что даже перекрасил спальню, где ночевала Мэгги, в нежно-зеленый цвет, купил новые занавески на окна и новое одеяло. Стюарт по-прежнему спал в комнате, которую дважды окрашивали все так же – кремовой с коричневым; отец Ральф вовсе не задумывался, хорошо ли Стюарту.

Просто он спохватился, что надо пригласить еще и его, чтобы не было обиды.

Отец Ральф и сам не знал, почему он так привязался к Мэгги, да, по правде говоря, и не удосужился спросить себя об этом. Началось с того, что ему стало ее жаль в тот давний день на пыльном вокзале, когда он заметил ее, растерянную, позади всех; она в семье на отшибе, потому что девочка, с неизменной проницательностью догадался он. Но его ничуть не заинтересовало, почему в стороне держался и Фрэнк, и жалости к Фрэнку он тоже не ощутил. Было во Фрэнке что-то такое, что убивало и нежность, и сочувствие – этому угрюмому сердцу не хватало внутреннего света. А Мэгги? Она тогда нестерпимо растрогала отца Ральфа, и, право же, он не понимал отчего. Да, ему нравятся эти необыкновенного цвета волосы, и цвет и разрез ее глаз – глаза у нее материнские и уже поэтому красивые, но еще милее, выразительнее; и характер истинно женский: податливость, но притом безграничная сила. Мэгги отнюдь не мятежная душа, совсем напротив. Всю свою жизнь она будет покоряться, смиренная узница своей женской доли.

Но нет, это еще не все. Загляни он в себя поглубже, он, быть может, понял бы, что его чувство к этой девочке рождено странным сочетанием времени, места и характера. Никто о ней всерьез не думает, а значит, есть в ее жизни пустота, которую он может заполнить и наверняка заслужит ее привязанность; она еще совсем ребенок и, значит, ничем не грозит его образу жизни и его доброму имени пастыря; она красива, а все красивое доставляет ему удовольствие; и, наконец – в этом он меньше всего склонен был себе признаться, – она сама заполняла пустоту в его жизни, которую не мог заполнить Бог, потому что она живое любящее существо, способное ответить теплом на тепло. Осыпать ее подарками нельзя, чтобы не ставить в неловкое положение семью, а потому он старался почаще с ней видаться и немало времени и выдумки потратил, заново отделявая для нее комнату в церковном доме – не столько затем, чтобы порадовать девочку, главное – чтобы создать достойную оправу для своей жемчужины. Ничто дешевое, второсортное для нее не годится.

В начале мая в Дрохеде собрались стригали. От Мэри Карсон ни один пустяк не ускользал в Дрохеде – ни распределение отар по выгонам, ни взмах пастушьего кнута; за несколько дней до прихода стригалей она вызвала к себе Пэдди и, как всегда утопая в глубоком кресле, подробно, до мелочей, распорядилась, что и как надо делать. Падрика, привычного к скромным масштабам Новой Зеландии, с первых дней ошеломил огромный сарай-стригальня с отделениями для двадцати шести мастеров; и теперь, после разговора с сестрой, от цифр и прочих сведений у него гудело в голове. Оказалось, в Дрохеде стригут не только своих овец, но еще и овец из Бугелы, Диббен-Диббена и Бил-Била. А это значит, что

все и каждый в имении, и мужчины и женщины, должны работать без роздыха. По обычаю стрижка овец – работа общая, и жители окрестных ферм, которые пользуются отлично оборудованной для этого Дрохедой, всячески стараются помочь, но тяжелее всех неминуемо приходится здешним.

Стригали приводят кого-нибудь, кто стряпает на всю артель, провизию покупают в Дрохеде, но надо, чтобы здешних запасов хватило, надо загодя вычистить, вымыть старые, сколоченные кое-как бараки, и кухню при них, и нехитрую пристройку для мытья, наготовить тюфяков и одеял. Не все фермы устраивали стригалей с такими удобствами, но Дрохеда гордилась своим гостеприимством и славой «распрекрасного места для стрижки». Ни в каких других общих начинаниях Мэри Карсон участия не принимала, зато уж тут она не скупилась. Ее стригальня была не только одной из крупнейших в Новом Южном Уэльсе, но и требовала лучших стригалей, мастеров вроде Джеки Хау; больше трехсот тысяч овец надо будет остричь, прежде чем стригали погрузят свои закатанные в одеяла пожитки в старый грузовик подрядчика и покатают туда, где их ждет еще работа.

Фрэнк уже две недели не был дома. Вдвоем со старым овчаром Питом Пивной Бочкой, прихватив двух запасных лошадей, собак и двуколку, нагруженную их нехитрыми пожитками, которую нехотя волокла ленивая кляча, он ездил на дальние западные участки: надо было пригнать оттуда овец, постепенно сводить их вместе, отбирать и сортировать. Тягучая, утомительная работа, ничего похожего на ту неистовую гонку перед наводнением. На каждом участке свои загоны, там можно отчасти распределить и пометить овец, пока не придет их черед. При самой стригальне размещаются зараз только десять тысяч овец, так что все время, пока работают стригали, вздохнуть будет некогда – знай мотайся взад-вперед, заменяя уже остриженных овец нестриженными.

В кухне Фрэнк застал мать за ее вечной, нескончаемой работой: она стояла у раковины и чистила картошку.

– Мам, это я! – весело окликнул он.

Она круто обернулась, и после двух недель, что они не виделись, Фрэнк сразу заметил ее живот.

– О Господи! – вырвалось у него.

Радость в ее глазах погасла, лицо залилось краской стыда; она прикрыла руками вздувшийся фартук, будто руки могли спрятать то, чего уже не прятала одежда.

Фрэнка затрясло.

– Мерзкий старый козел!

– Не смей так говорить, Фрэнк. Ты уже взрослый, должен понимать. Ты и сам появился на свет не иначе, и это заслуживает не меньшего уважения. Ничего мерзкого тут нет. Когда ты оскорбляешь папу, ты оскорбляешь и меня.

– Он не имеет права! Мог бы оставить тебя в покое! – прошипел Фрэнк, в углу его дрожащих губ вскипел пузырек пены, он отер рот ладонью.

– Тут нет ничего мерзкого, – устало повторила Фиона и так посмотрела на сына ясными измученными глазами, словно решила раз навсегда избавиться от стыда. – Никакой тут нет мерзости, Фрэнк, и в том, отчего дети рождаются, – тоже.

Теперь побагровел Фрэнк. Не в силах больше выдержать взгляд матери, он повернулся и пошел в комнату, которую делил с Бобом, Джеком и Хьюги. Ее голые стены и узкие кровати насмеются над ним, да, насмеются, такие скучные, безликие, некому вдохнуть в них

жизнь, нечему освятить их, придать им смысл. А лицо матери, прекрасное усталое лицо в строгом ореоле золотистых волос, все светится из-за того, чем она и этот волосатый старый козел занимались в нестерпимую летнюю жару.

Никуда от этого не уйти, никуда не уйти от матери, от тайных, подавляемых мыслей, от желаний, таких естественных, ведь он уже взрослый, он мужчина. Чаще всего удастся вытеснить их из сознания, но когда она выставляет перед ним явный знак своих вожделений, похвально загадочными действиями, которым предается с этим похотливым старым скотом... Нет сил думать об этом, как с этим мириться, как это вынести? Почему она не может быть непорочно святой, чистой и незапятнанной, как сама Богоматерь, почему не стоит выше этого, пусть даже в этом виновны все женщины на всем свете! А она прямо и открыто подтверждает, что виновна, – от этого можно сойти с ума. Чтобы не лишиться рассудка, он давно уже себе внушал, будто она ложится рядом со старым уродом, сохраняя полнейшее целомудрие, надо же ей где-то спать, но никогда они ночью не обернутся, не коснутся друг друга... О черт!

Что-то закрипело, звякнуло, и Фрэнк опустил глаза – оказалось, он согнул спиралью медную перекладину в изножье кровати.

– Жаль, что ты не папашина шея, – сказал он ей.

– Фрэнк...

В дверях стояла мать.

Он вскинул голову, черные влажные глаза блестели, точно уголь под дождем.

– Когда-нибудь я его убью.

– Этим ты убьешь и меня, – сказала Фиа, подошла и села на его постель.

– Нет, я тебя освобожу! – горячо, с надеждой возразил он.

– Не буду я свободна, Фрэнк, и не нужна мне эта свобода. Хотела бы я понять, почему ты такой слепой, да никак не пойму. Это у тебя не от меня и не от отца. Я знаю, ты не чувствуешь себя счастливым, но неужели надо вымещать это на мне и на папе? Почему ты так стараешься все усложнять? Почему? – Она опустила глаза, потом снова посмотрела на сына. – Не хотела я говорить, но приходится. Пора тебе выбрать девушку, Фрэнк, женись, обзаведись семьей. В Дрохеде места довольно. Я никогда в этом смысле не тревожилась за других мальчиков; они, видно, по природе совсем другие. А тебе нужна жена, Фрэнк. Когда женишься, тебе уже некогда будет думать обо мне.

Фрэнк стоял к ней спиной и не оборачивался. Минут пять она сидела на краю постели, все надеялась дожидаться от него хоть слова, потом со вздохом поднялась и вышла.

После отъезда стригалей, когда вся округа поуспокоилась, настроясь на зимний лад, настало время ежегодной Джиленбоунской выставки и скачек. То были главные местные праздники, и продолжались они два дня. Фионе нездоровилось, и когда Пэдди повез Мэри Карсон в город в ее «роллс-ройсе», рядом не было жены, его надежной опоры, чье присутствие заставило бы Мэри придержать язык. Пэдди уже давно заметил – непонятно почему при Фионе его сестра как-то притихает и теряет самоуверенность.

Остальные все поехали. Мальчикам, пригрозив самыми страшными карами, велели вести себя прилично, и они вместе с Питом Пивной Бочкой, Джимом, Томом, миссис Смит и

служанками набились в грузовик, но Фрэнк отправился спозаранку один на легковом «фордике». Взрослая часть всей компании оставалась и на второй день, на скачки; из соображений, известных только ей одной, Мэри Карсон отклонила приглашение отца Ральфа, однако настояла, чтобы у него в доме переночевали Пэдди с Фрэнком. Где нашли ночлег другие два овчара и Том, младший садовник, никого не интересовало, а миссис Смит, Минни и Кэт остановились у своих приятельниц в Джилли.

В десять утра Пэдди отвел сестру в лучший номер, каким располагала гостиница «Империял»; потом спустился в бар и у стойки увидел Фрэнка с огромной кружкой пива в руках.

– Теперь я угощаю, старик, – весело сказал он сыну. – Мне придется отвезти тетю Мэри на торжественный завтрак, так надо подкрепиться, а то без мамы мне с таким испытанием не справиться.

Привычный почтительный страх въедается прочно, это понимаешь только тогда, когда впервые пытаешься разорвать его многолетние путы; оказалось, Фрэнк при всем желании просто не в силах выплеснуть пиво отцу в лицо, да еще на глазах у всех в баре. И он допил остатки, криво улыбнулся:

– Извини, папа, я обещал встретиться на выставке с приятелями.

– Ну, тогда иди. На-ка вот, возьми на расходы. Желаю весело провести время, а если напьешься, постарайся, чтоб мать не заметила.

Фрэнк устался на хрустящую синюю бумажку – пять фунтов. Разорвать бы ее, швырнуть клочки Пэдди в лицо! Но привычка опять взяла верх, он сложил новенькую бумажку, сунул в нагрудный карман и поблагодарил отца. И со всех ног бросился вон из бара.

Пэдди – в парадном синем костюме, жилет застегнут доверху, золотая цепочка с брелком, тяжелым самородком с приисков Лоренса, надежно удерживает в кармане золотые часы – поправил тугой целлулоидный воротничок и взгляделся: не найдется ли в баре знакомого лица. За девять месяцев, с приезда в Дрохеду, он не часто бывал в Джилли, но его-то, брата и, по всей видимости, наследника Мэри Карсон, все знали в лицо, и всякий раз он встречал в городе самый радушный прием. Несколько человек заулыбались ему, несколько голосов окликнули, предлагая выпить пива, очень быстро его окружила небольшая, но дружелюбная компания; и он позабыл о Фрэнке.

Мэгги теперь ходила уже не в локонах (несмотря на деньги Мэри Карсон, ни одной монахине не хотелось об этом заботиться), по плечам ее сбегали две туго заплетенные толстые косы с темно-синими бантами. Монахиня приводила ее в скромном темно-синем форменном платье воспитанницы монастырской школы через монастырскую лужайку в дом отца Ральфа и передавала с рук на руки экономке – та девочку обожала.

– Ох и красота же волосы у крошки, такие только в наших горах увидишь, – с сильным шотландским выговором объяснила она однажды отцу Ральфу; его забавляла эта неожиданная пылкость: вообще-то Энни отнюдь не питала нежных чувств к детям и соседство школы ей совсем не нравилось.

– Полно вам, Энни! Волосы ведь неживые, нельзя же кого-то полюбить только за цвет волос, – поддразнил он.

– Ну, она же милая, бедняжка – есть такие неубереги, сами знаете.

Нет, отец Ральф не знал и не стал спрашивать, что это за слово «неубереги», и не сказал вслух, что оно даже по звучанию своему подходит к Мэгги. Порой не стоит вникать в смысл

речей Энни и поощрять ее излишним вниманием; Энни недаром называет себя вещуньей – и вот жалеет девочку, а ему вовсе не хочется услышать, что жалости достойно не столько прошлое Мэгги, сколько будущее.

Явился Фрэнк, его все еще трясло после встречи с отцом, и он не знал, куда себя девать.

– Пойдем, Мэгги, я сведу тебя на ярмарку, – сказал он и протянул руку.

– Может быть, я отведу вас обоих? – И отец Ральф тоже подал ей руку.

И вот Мэгги идет между двумя людьми, которых боготворит, и крепко-крепко держится за их руки – она на седьмом небе.

Джиленбоунская выставка располагается на берегу Баруона, рядом с ипподромом. Хотя после наводнения минуло полгода, почва еще не просохла и, растоптанная собравшимися пораньше нетерпеливыми зеваками, уже обратилась в жидкую грязь. За стойлами для отборных, первоклассных овец и коров, свиней и коз, соперничающих за награды, разбиты были палатки со всяческой снедью и кустарными поделками местных умельцев. Племенной скот и печенье, вязаные шали и вязаные кофточки и капоры для младенцев, вышитые скатерти, кошки, собаки, канарейки – есть на что посмотреть.

А дальше, за всем этим, – скаковой круг, здесь молодые всадники и всадницы на скакунах с подстриженными хвостами гарцуют перед судьями. Судьи и сами очень похожи на лошадей, решила Мэгги и не удержалась, хихикнула. Наездницы в великолепных амазонках тонкой шерсти, в цилиндрах, кокетливо обмотанных тончайшей вуалью с развевающимися концами, сидят бочком на высоченных лошадях. Мэгги просто понять не могла, как можно в такой шляпе и при такой непрочной посадке удержаться на лошади и сохранить пристойный вид, если она хоть немножко ускорит шаг, но тут на глазах у Мэгги одна блистательная дама заставила своего гордого коня проделать ряд сложнейших прыжков и скачков – и до конца выглядела безупречно. А потом эта дама нетерпеливо прищипорила коня, проскакала галопом по размокшему полю и остановилась как раз перед Мэгги, Фрэнком и отцом Ральфом, преграждая им путь. Перекинула ногу в черном лакированном сапожке через седло и, сидя уже совсем боком, на самом краешке, повелительно простерла руки, затянутые в перчатки:

– Отец Ральф! Будьте столь любезны, помогите мне спешиться!

Он протянул руки, взял ее за талию, она оперлась на его плечи, и он легко снял ее с седла, а как только ее сапожки коснулись земли, отпустил эту тонкую талию, взял лошадь под уздцы и повел; молодая особа пошла рядом, без труда применяясь к его походке.

– Вы выиграете Охотничий заезд, мисс Кармайкл? – без малейшего интереса осведомился священник.

Она капризно надула губы; она была молода, очень хороша собой, и ее явно задело странное равнодушие отца Ральфа.

– Надеюсь выиграть, но не вполне в этом уверена. У меня ведь серьезные соперницы – мисс Хоуптон и миссис Энтони Кинг. Однако состязания по выездке я рассчитываю выиграть, так что если в Охотничьем заезде и не выиграю, огорчена не буду.

Она говорила так гладко, так правильно, до странности чопорно – то была речь благородной особы, столь воспитанной и образованной, что ни живое чувство, ни единое образное слово не скрашивали эту речь. И отец Ральф, обращаясь к ней, тоже заговорил округлыми фразами, приглаженными словами, без следа обаятельной ирландской живости, словно чопорная красавица вернула его к тем временам, когда он и сам был таким.

Мэгги нахмурилась, озадаченная, неприятно удивленная: как легко, но и осторожно они перебрасываются словами, как переменялся отец Ральф – непонятно, в чем перемена, но она

есть и ей, Мэгги, перемена эта совсем не нравится. Мэгги выпустила руку Фрэнка, да и трудно им теперь стало идти всем в ряд.

Когда они подошли к широченной луже, Фрэнк уже далеко отстал. Отец Ральф оглядел лужу – она была больше похожа на неглубокий пруд, – и глаза его весело блеснули; он обернулся к девочке, которую по-прежнему крепко держал за руку, наклонился к ней с особенной нежностью – это мисс Кармайкл мигом почувствовала – вот чего не хватало их учтивой светской беседе.

– Я не ношу плаща, Мэгги, милая, и потому не могу бросить его к твоим ногам, как сэр Уолтер Роли. Вы, конечно, извините меня, дорогая мисс Кармайкл, – тут он передал ей поводья ее коня, – но не могу же я допустить, чтобы моя любимица запачкала башмачки, не так ли?

Он легко подхватил Мэгги под мышку и прижал ее к боку, предоставив мисс Кармайкл одной рукой подобрать тяжелую длинную юбку, другой – поводья и шлепать по воде без посторонней помощи. За спиной у них громко захохотал Фрэнк, от чего настроение красавицы отнюдь не стало лучше, и, перейдя лужу, она круто свернула в другую сторону. Отец Ральф спустил Мэгги наземь.

– Вот ей-богу, она бы рада вас убить, – сказал Фрэнк.

Он был в восторге от этой встречи и от рассчитанной жестокости отца Ральфа. Такая красавица и такая гордая, кажется, ни один мужчина перед ней не устоит, даже и священник, а вот отец Ральф безжалостно сокрушил ее веру в себя, в силу дерзкой женственности, которая служила ей оружием. Как будто он, священник, ненавидит ее и все, что она олицетворяет, этот женский мир, утонченный и таинственный, куда Фрэнку еще не случилось проникнуть. Уязвленный словами матери, он очень хотел, чтобы мисс Кармайкл его заметила: как-никак, он старший сын наследника Мэри Карсон, а она даже не удостоила его взглядом, будто его и нет вовсе. Она была поглощена этим попом, а ведь он существо бесполое. Хоть и высокий, и смуглый, и красавец, а все равно не мужчина.

– Не беспокойтесь, она так просто не уgomонится, – язвительно усмехнулся отец Ральф. – Она ведь богата и в ближайшее воскресенье всем напоказ пожертвует церкви десять фунтов. – Он засмеялся, глядя на изумленное лицо Фрэнка. – Я не намного старше вас, сын мой, но хоть я и священник, а человек очень даже практический. Не ставьте это мне в укор; просто я много в жизни повидал.

Ипподром остался позади, они вышли на площадь, отведенную для всевозможных увеселений. И Фрэнк, и Мэгги вступили сюда, как в волшебную страну. Отец Ральф дал Мэгги целых пять шиллингов, у Фрэнка – пять фунтов; какое счастье, когда можешь заплатить за вход в любой заманчивый балаган. Народу полным-полно, всюду снует детвора, круглыми глазами глядит на завлекательные, подчас довольно неуклюже намалеванные надписи над входом в потрепанные парусиновые шатры: «Самая толстая женщина в мире»; «Принцесса-Гурия, Танец со змеями (спешите видеть, она разжигает ярость Кобры!)»; «Человек без костей из Индии»; «Голиаф, Величайший Силач на Земле»; «Русалка Фетида, Морская Дева». Дети выкладывали монетки и зачарованно смотрели на все эти чудеса и не замечали, как потускнела чешуя русалки и как беззубо ухмыляется кобра.

В дальнем конце площадки, во всю ее ширину, – огромный шатер, перед ним высокий дощатый помост, а над помостом протянуто размалеванное полотнище, подобие фриза, с которого грозят зрителям нарисованные фигуры. И какой-то человек закричал в рупор собравшейся толпе:

– Внимание, господа публика! Перед вами знаменитая команда боксеров Джимми Шармена! Восемь лучших в мире боксеров! Храбрецы, испытайте свои силы, победитель получает денежный приз!

Женщины и девушки стали выбираться из толпы, и так же поспешно со всех сторон подходили мужчины, молодые парни и подростки теснились к самому помосту. Торжественно, совсем как гладиаторы, выходящие на арену в цирке Древнего Рима, вереницей выступили на помост восемь человек и стали: перебинтованные в запястьях руки уперлись в бока, ноги расставлены – стоят, красуются под восхищенные ахи и охи толпы. На всех черные, в обтяжку, фуфайки и длинные трико, а поверх тоже облегающие серые трусы до половины ляжек, – Мэгги решила, что они вышли в нижнем белье. На груди у всех белыми большими буквами выведено: «Команда Джимми Шармена». Они разного роста – есть и очень высокие, и средние, и низенькие, но все на редкость крепкие и складные. Болтают друг с другом, пересмеиваются, небрежно поигрывают мускулами – словом, прикидываются, будто обстановка самая что ни на есть будничная и общее внимание ничуть им не льстит.

– Ну, ребята, кто примет вызов? – орал в рупор зазывала. – Кто хочет попытать счастья? Прими вызов, выиграй пятерку! – опять и опять вопил он, и крики его перемежались гулкой дробью барабана.

– Принимаю! – крикнул Фрэнк. – Иду! Иду!

Отец Ральф хотел было его удержать, но Фрэнк стряхнул его руку, а вокруг в толпе, кто поближе, засмеялись, увидев, что храбрец небольшого росточка, и начали добродушно подталкивать его вперед.

Один из команды дружески протянул руку и помог Фрэнку взобраться по крутой лесенке на помост и стать рядом с восьмеркой, а зазывала с величайшей серьезностью объявил:

– Не смейтесь, господа публика! Он не очень велик ростом, зато первый охотник сразиться. Сами знаете, не тот храбрец, кто великан, а тот великан, кто храбрец! Ну-ка, вот малыш принял вызов, а вы, верзилы, что жметесь? Кто примет вызов и выиграет пятерку, кто померяется силами с молодцами Джимми Шармена?

Понемногу набрались и еще охотники – молодые парни смущенно мяли в руках шляпы и почтительно смотрели на стоящих рядом профессионалов, на избранных и недосягаемых. Отцу Ральфу очень хотелось посмотреть, чем все это кончится, но ничего не поделаешь, давно пора увести отсюда Мэгги, решил он, опять подхватил ее, круто повернулся и пошел было прочь. Мэгги завизжала и с каждым его шагом визжала все громче; на них уже глазели, это было очень неловко, хуже того – неприлично, ведь отец Ральф – лицо в городе всем известное.

– Послушай, Мэгги, я не могу повести тебя туда! Твой отец спустит с меня шкуру – и будет прав!

– Я хочу к Фрэнку, я хочу к Фрэнку! – во все горло завопила Мэгги, она отчаянно брыкалась и пыталась укунить его руку.

– Вот бред собачий! – сказал отец Ральф.

И покорился неизбежному, нашарил в кармане мелочь и двинулся к входу в балаган, косясь по сторонам – нет ли тут кого из мальчиков Клири; но никого из них не было видно – должно быть, состязаются в искусстве набросить подкову на гвоздь либо уплетают пирожки с мясом и мороженое.

– Девочке сюда нельзя, святой отец, – удивленно и негодуя сказал зазывала.

Отец Ральф возвел глаза к небу:

– Я и рад бы уйти, научите – как? На ее крик сбежится вся джиленбоунская полиция, и нас арестуют за жестокое обращение с ребенком. Ее старший брат будет бороться с одним из ваших молодцов, ей непременно надо посмотреть, как он выйдет победителем.

Тот пожал плечами:

– Что ж, святой отец, не мое дело с вами спорить, верно? Только ради... э-э... только, сделайте милость, глядите, чтоб она не путалась под ногами. Нет-нет, уберите свои деньги, Джимми с вас денег не возьмет.

Балаган заполняли мужчины и мальчишки, все теснились к арене посередине; крепко сжимая руку Мэгги, отец Ральф отыскивал свободное место позади всех, у брезентовой стенки. Воздух был сизый от табачного дыма, и славно пахло опилками, которыми тут для чистоты посыпали пол. Фрэнк был уже в перчатках, ему предстояло драться первому.

Добровольцу из толпы случается, хоть и не часто, выдержать схватку с боксером-профессионалом. Правда, команда Джимми Шармена была не бог весть что, но в нее входили и несколько первоклассных боксеров Австралии. Из-за малого роста Фрэнка против него выставили боксера наилегчайшего веса – Фрэнк уложил его с третьего удара и вызвался сразиться с кем-нибудь еще. К тому времени когда он дрался с третьим из команды, об этом прослышали на площади, и в балаган набилось полно народу, яблоку некуда упасть.

Противникам почти не удавалось задеть Фрэнка, а немногие их удары, попавшие в цель, только разжигали постоянно тлеющую в нем ярость. Глаза у него стали бешеные, он весь кипел, в каждом противнике ему чудился Пэдди, в восторженных воплях зрителей слышалась одна могучая песнь: «Бей! Бей! Бей!» Ох, как он жаждал случая подраться, до чего недоставало ему драки с тех самых пор, как он попал в Дрохеду! Драться! Он ведь не знал иного способа излить боль и гнев – и когда валил противника с ног, ему слышалось, могучий голос твердит уже иную песню: «Убей! Убей! Убей!»

Потом против него выставили настоящего чемпиона-легковеса, которому велено было держать Фрэнка на расстоянии и выяснить, так ли он хорош в дальнем бою, как в ближнем. У Джимми Шармена заблестели глаза. Он всегда был начеку – не сыщется ли новый чемпион, и на таких вот представлениях в глухих городках уже открыл несколько «звезд». Легковес выполнял что велено, и ему приходилось туго, хоть руки у него были длиннее, а Фрэнк, одержимый одним неистовым желанием – свалить, одолеть, прикончить, – видел одно: враг неуловим, все приплясывает, все ускользает – и преследовал его неотступно. И из каждого захвата, и из града ударов извлекал все новые уроки, ибо принадлежал к той странной породе людей, что даже в порыве страшной ярости способны думать. И он продержался весь раунд, как ни жестоко отделали его опытные кулаки чемпиона, глаз у него заплыл, бровь и губа рассечены. Но он выиграл двадцать фунтов – и уважение всех зрителей.

Улучив минуту, Мэгги вывернулась из рук отца Ральфа и кинулась вон из балагана, он не успел ее удержать. Вышел следом и увидел, что ее стошнило и она пытается вытереть крохотным носовым платком забрызганные башмаки. Он молча подал ей свой платок, погладил огненную головку, которая вздрагивала от рыданий. В балагане его и самого мутило, но, увы, сан не позволял давать себе волю на людях.

– Хочешь подождать Фрэнка или, может быть, пойдем?

– Обожду Фрэнка, – прошептала Мэгги и прислонилась к его боку, благодарная за это ненавязчивое сочувствие.

– Не понимаю, откуда у тебя такая власть над моим несуществующим сердцем? – сказал

он в раздумье, полагая, что она, ослабевшая, жалкая, не слушает, и, как многие, кто живет в одиночестве, уступая потребности высказать свои мысли вслух. – Ты ничуть не похожа на мою мать, сестры у меня никогда не было, просто не пойму, что же это такое в тебе и в твоём несчастном семействе... Очень трудно тебе живется, моя маленькая Мэгги?

Из балагана вышел Фрэнк, промакивая платком рассеченную губу, бровь залеплена куском пластыря. Впервые за все время их знакомства лицо у него счастливое – должно быть, так выглядит большинство мужчин после того, что называется «неплохо провести ночь с женщиной», подумал священник.

– Почему тут Мэгги? – свирепо спросил Фрэнк, еще взвинченный после боя.

– Удержать ее можно было бы только одним способом: связать по рукам и ногам и, конечно, заткнуть рот кляпом, – едко ответил отец Ральф; не очень-то приятно оправдываться, но, пожалуй, Фрэнк и на него может кинуться с кулаками. Он опасался вовсе не Фрэнка, но скандала на людях. – Она испугалась за вас, Фрэнк, и хотела быть поближе, своими глазами убедиться, что с вами ничего худого не случилось. Не надо на нее сердиться, она и без того переволновалась.

– Не смей рассказывать папе, что ты сюда совалась, – сказал сестре Фрэнк.

– Если не возражаете, может быть, на этом закончим нашу прогулку? – предложил священник. – Я думаю, всем нам не помешает отдохнуть и выпить горячего чаю у меня дома. – Он легонько ущипнул Мэгги за кончик носа. – А вам, молодая особа, не помешает еще и хорошенько вымыться.

Пэдди весь день состоял при сестре, и это была сушая пытка, Фиона никогда им так не помыкала; старухе надо было помогать, когда она, брюзжа и фыркая, пробиралась во французских шелковых туфельках по джиленбоунской грязи; улыбаться и что-то говорить людям, которых она удостаивала кивком свысока; стоять рядом, когда она вручала победителю главного заезда Джиленбоунский приз – изумрудный браслет. Пэдди, хоть убейте, не понимал, с какой стати, чем бы вручить кубок с золотой пластинкой и солидную сумму наличными, все призовые деньги ухлопали на женскую побрякушку, – слишком чужда была ему сугубо любительская природа этих состязаний; подразумевалось, что люди, занимающиеся конным спортом, не нуждаются в презренном металле и могут пустить выигрыш на ветер ради женщины. Хорри Хоуптон, чей гнедой мерин Король Эдуард выиграл этот изумрудный браслет, в прошлые годы уже стал обладателем других браслетов – рубинового, бриллиантового и сапфирового, но сказал, что не успокоится, пока не наберет полдюжины: у него были жена и пять дочерей.

В крахмальной сорочке и целлулоидном воротничке Пэдди было не по себе, он парился в плотном синем костюме, желудок, привычный к баранине, плохо мирился с экзотической сиднейской закуской из крабов и моллюсков, которую подавали к шампанскому на торжественном завтраке. И он чувствовал себя дурак дураком и не сомневался, что вид у него дурацкий. Его лучший костюм плохо шит и откровенно старомоден, так и разит глубокой провинцией. И все вокруг ему чужие – все эти шумные, напористые скотоводы, и их солидные высокомерные жены, и долговязые, зубастые молодые женщины (в них и самих есть что-то лошадиное) – все эти сливки того, что местный «Бюллетень» именует «скваттократией»<sup>[4]</sup>. Ведь они изо всех сил стараются забыть о тех днях, когда в прошлом веке они переселились сюда, в Австралию, и захватили обширные земли, которые потом, с созданием Федерации и самоуправления, власти молчаливо признали их собственностью.

Эта верхушка вызывает в стране всеобщую зависть, эти люди образовали свою политическую партию, посылают своих детей в аристократические школы в Сиднее, запросто принимают у себя принца Уэльского, когда он является в Австралию с визитом. А он, Пэдди Клири, – простой человек, рабочий. И ничего у него нет общего с этими колониальными аристократами, слишком неприятно напоминают они ему семейство его жены.

И когда вечером в гостиной отца Ральфа он застал Фрэнка, Мэгги и самого хозяина у пылающего камина – спокойных, довольных, сразу видно, провели день беззаботно и весело, – его взяла досада. Ему отчаянно не хватало незаметной, но надежной поддержки жены, а сестру он терпеть не мог, пожалуй, не меньше, чем когда-то в раннем детстве, в Ирландии. И вдруг он заметил пластырь над глазом Фрэнка, его опухшее лицо и несказанно обрадовался предлогу для вспышки.

– Ты как же это покажешься матери на глаза в таком виде? – заорал он. – Чуть за тобой не уследи, ты опять за старое, кто на тебя косо ни поглядит, сразу лезешь в драку.

Пораженный, отец Ральф вскочил, раскрыл было рот – примирить, успокоить, но Фрэнк опередил его.

– Я на этом заработал деньги, – очень тихо сказал он, показывая на пластырь. – Двадцать фунтов за несколько минут, тетушка Мэри нам с тобой двоим за месяц столько не платит! Нынче в балагане Джимми Шармена я уложил троих классных боксеров и продержался целый раунд против чемпиона в легком весе. И заработал себе двадцать фунтов. Может, по-твоему, мне и не следует этим заниматься, а только нынче сколько народу там было, все меня зауважали!

– Управился с парочкой выдохшихся перестарков на захолустном представлении да и возгордился? Пора подрасти, Фрэнк! Понятно, росту в тебе уже не прибавится, но хоть бы ради матери постарался ума прибавить!

Как побледнел Фрэнк! Лицо – точно выбеленная непогодой кость. Выслушать жесточайшее оскорбление, да еще от кого – от родного отца, и нельзя ответить тем же. Он задыхался, еле пересиливая себя, чтобы не пустить в ход кулаки.

– Никакие они не перестарки, папа. Ты не хуже меня знаешь, кто такой Джимми Шармен. И сам Джимми Шармен сказал, из меня выйдет классный боксер, он хочет взять меня в команду и сам будет тренировать. Да еще станет мне платить! Может, росту во мне и не прибавится, зато силы хватает, я кого хочешь разделаю под орех – и тебя тоже, ты, вонючий старый козел!

Пэдди прекрасно понял намек, скрытый в последних словах, и тоже страшно побледнел.

– Да как ты смеешь!

– А кто ж ты есть? Скот похотливый! Ты что, не можешь оставить ее в покое? Не можешь не приставать к ней?

– Не надо, не надо! – закричала Мэгги. Отец Ральф будто когтями впился ей в плечи, больно прижал к себе. Слезы струились у нее по щекам, она отчаянно, тщетно старалась вырваться. – Не надо, папочка! Ой, Фрэнк, не надо! Пожалуйста, не надо! – пронзительно кричала она.

Но ее слышал один только отец Ральф. Фрэнк и Пэдди стояли лицом к лицу, страх и враждебность наконец обрели выход. Плотина, которая прежде их сдерживала – общая любовь к Фионе, – прорвалась, ожесточенное соперничество из-за нее вышло наружу.

– Я ей муж. И Господь благословил нас детьми, – сказал Пэдди спокойнее, силясь овладеть собой.

– Ты гнусный кобель, ты на каждую сучку рад вскочить!

– А ты весь в гнусного кобеля – своего папашу, уж не знаю, кто он там был! Слава Богу, я-то тут ни при чем! – заорал Пэдди... и осекся. – «Боже милостивый!» – Его бешенство разом утихло, он обмяк, съежился, точно проколотый воздушный шар, руками зажал себе рот, казалось, он готов вырвать свой язык, который произнес непроизносимое. – Я не то хотел сказать! Не то! Не то!

Едва у Пэдди вырвались роковые слова, отец Ральф выпустил Мэгги и кинулся на Фрэнка. Вывернул его правую руку назад, своей левой обхватил за шею так, что едва не задушил. Он был силен, и хватка у него оказалась железная; Фрэнк пытался высвободиться, потом перестал сопротивляться, покорно покачал головой. Мэгги упала на пол и так и осталась на коленях, заливаясь слезами, и только беспомощно, с отчаянной мольбой смотрела то на отца, то на брата. Она не понимала, что произошло, но чувствовала – одного из них она теряет.

– Именно то самое ты и хотел сказать, – хрипло вымолвил Фрэнк. – Наверное, я всегда это знал! Наверное, знал! – Он попытался повернуть голову к священнику. – Отпустите меня, отец Ральф. Я его не трону, клянусь Богом, не трону.

– Клянешься Богом? Да будьте вы прокляты Богом вовеки, вы оба! – прогремел отец Ральф, единственный, в ком теперь кипел гнев. – Если вы погубили девочку, я вас убью! Мне пришлось оставить ее здесь, чтоб она все это слышала, потому что я боялся – уведу ее, а вы тем временем друг друга прикончите, понятно это вам? И лучше бы прикончили, напрасно я вам помешал, остолопы безмозглые, только о себе и думаете!

– Ладно, я ухожу, – тусклым, не своим голосом сказал Фрэнк. – Я поступаю в команду Джимми Шармена и никогда не вернусь.

– Ты должен вернуться! – еле слышно выговорил Пэдди. – Что я скажу твоей матери? Ты ей дороже всех нас, вместе взятых. Она мне вовек не простит!

– Скажи ей, я поступил к Джимми Шармену, потому что хочу чего-то добиться. Это чистая правда.

– То, что я сказал... это неправда, Фрэнк.

Черные глаза Фрэнка сверкнули презрением – чужие, неуместные глаза в этой семье, они озадачили отца Ральфа еще тогда, в день первой встречи: откуда у сероглазой Фионы и голубоглазого Пэдди взялся черноглазый сын? Отец Ральф знаком был с учением Менделя и полагал, что даже серые глаза Фионы этого никак не объясняют.

Фрэнк взял пальто и шапку.

– Ну, ясно, это правда! Наверное, я всегда это знал. Мне вспоминалось, мама играла на своем клавесине в комнате, какой у тебя сроду не было! И я чувствовал: тебя раньше не было, я был до тебя. Сначала она была моя. – Он беззвучно засмеялся. – Надо же, сколько лет я клял тебя, думал, ты затащил ее в болото, а это все из-за меня. Из-за меня!

– Тут никто не виноват, Фрэнк, никто! – воскликнул священник и схватил его за плечо. – Неисповедимы пути Господни, поймите это!

Фрэнк стряхнул его руку и легким, неслышным своим шагом, шагом опасного крадущегося зверя, пошел к выходу.

Да, он прирожденный боксер, мелькнуло в мозгу отца Ральфа – в бесстрастном мозгу прирожденного кардинала.

– «Неисповедимы пути Господни!» – передразнил с порога Фрэнк. – Когда вы разыгрываете пастыря духовного, вы просто попугай, преподобный де Брикассар! Да

помилуй Бог вас самого, вот что я вам скажу, из всех нас вы тут один понятия не имеете, что вы такое на самом деле!

Пэдди, мертвенно-бледный, сидя на стуле, не сводил испуганных глаз с Мэгги, а она съежилась на коленях у камина и все плакала и раскачивалась взад и вперед. Он встал, шагнул было к ней, но отец Ральф грубо оттолкнул его.

– Оставьте ее. Вы уже натворили бед! Возьмите там в буфете виски, выпейте. И не уходите, я уложу девочку, а потом вернусь, поговорим. Слышите вы меня?

– Я не уйду, ваше преподобие. Уложите ее в постель.

Наверху, в уютной светло-зеленой спальне, отец Ральф расстегнул на девочке платье и рубашку, усадил ее на край кровати, чтобы снять башмаки и чулки. Ночная рубашка, приготовленная заботливой Энни, лежала на подушке; отец Ральф надел ее девочке через голову, скромно натянул до пят, потом снял с нее штанишки. И все время что-то болтал о пустяках – пуговицы, мол, не хотят расстегиваться, и шнурки от башмаков нарочно не развязываются, и ленты не желают выплетаться из кос. Не понять было, слышит ли Мэгги эти глупые прибаутки; остановившимися глазами она безрадостно смотрела куда-то поверх его плеча, и в глазах этих была невысказанная повесть слишком ранних трагедий, детских страданий и горя, тяжкого не по годам.

– Ну, теперь ложись, девочка моя дорогая, и постарайся уснуть. Скоро я опять к тебе приду, ни о чем не тревожься, слышишь? И тогда обо всем поговорим.

– Как она? – спросил Пэдди, когда отец Ральф вернулся в гостиную.

Священник взял с буфета бутылку и налил себе полстакана виски.

– По совести сказать, не знаю. Бог свидетель, Пэдди, хотел бы я понять, что для ирландца худший бич – его страсть к выпивке или бешеный нрав? Какая нелегкая вас дернула сказать это? Нет, не трудитесь отвечать! Тот самый нрав. Конечно, это правда. Я знал, что он вам не сын, понял с первого взгляда.

– Вы, видно, все замечаете?

– Многое. Впрочем, довольно и самой обыкновенной наблюдательности, чтобы увидеть – кто-то из моих прихожан встревожен или страдает. А когда я вижу такое, мой долг – помочь, насколько это в моих силах.

– Вас в Джилли очень любят, ваше преподобие.

– Без сомнения, этим я обязан своей наружности. – Священник хотел сказать это небрежно, но против его воли в словах прозвучала горечь.

– Вон вы как думаете? Нет, ваше преподобие, я не согласен. Мы вас любим, потому что вы хороший пастырь.

– Ну, во всяком случае, я, видно, уже по уши увяз в ваших неприятностях, – не без смущения сказал отец Ральф. – Так что давайте выкладывайте, что у вас на душе, приятель.

Пэдди уставился на горящие поленья – он терзался раскаянием, не находил себе места и, чтобы хоть чем-то заняться, пока священник укладывал Мэгги, развел в камине целый костер. Пустой стакан так и прыгал в его трясущейся руке; отец Ральф встал за бутылкой и налил ему еще виски. Пэдди жадно выпил, вздохнул, утер лицо – раньше он не замечал, что по щекам текут слезы.

– Я и сам не знаю, кто отец Фрэнк. Мы с Фионой после познакомились. Ее родные в Новой Зеландии, можно сказать, самые видные люди, у отца за Ашбертоном, на Южном острове, громадное имение, там и овцы, и пшеница. Деньгам счету нет, а Фиа у него

единственная. Я так понимаю, он для нее всю жизнь загодя обдумал: съездит она в Англию, представят ее ко двору, найдут подходящего мужа. В доме она, понятно, ни до какой работы не касалась. У них всего хватало: и горничные, и дворецкие, и лошади, и кареты... Жили как важные господа.

Я там работал подручным на маслобойне, бывало, видел издали – Фиа гуляет с мальчонкой, годика полтора ему. И вот раз приходит ко мне сам Джеймс Армстронг. Дочь, говорит, опозорила семью – незамужняя, а родила. Тогда это, конечно, замяли, хотели сплавить ее подальше, да помешала бабушка, до того расходилась – делать нечего, хоть и неловко, а оставили они ее в доме. А теперь, говорит мне Джеймс, эта бабушка помирает, и уж без нее они от дочки с ее младенцем непременно избавятся. А я, мол, человек одинокий; коли женюсь на ней да обещаю увезти ее с Южного острова, они нам дадут денег на дорогу и еще сверх того пятьсот фунтов.

Что ж, ваше преподобие, для меня пятьсот фунтов – богатство, и одинокая жизнь надоела. Только я всегда был стеснительный, перед девушками робел. Ну и подумал, может, оно и нехудо получится, а что ребенок, так я вовсе не против. Бабушка про это прослышала и, хоть совсем уже плоха была, послала за мной. Голову прозакладываю, прежде она была суцая ведьма, но что благородная дама – это точно. Она мне рассказала малость про Фиону, но про то, кто отец малыша, – ни звука, и мне неохота было спрашивать. Ну и вот, взяла она с меня слово, что Фиа от меня зла не увидит... она понимала: только она помрет – они свою дочку в два счета из дому выгонят, вот и подсказала Джеймсу, мол, сыщите ей мужа. Я тогда старушку пожалел, Фиа ей была дороже всех на свете.

Хотите верьте, хотите нет, ваше преподобие, а я с Фионой первое слово сказал только в тот день, когда мы повенчались.

– Охотно верю, – прошептал отец Ральф. Посмотрел на свой стакан, залпом выпил виски, потянулся к бутылке и заново наполнил оба стакана. – Значит, вы женились на знатной особе, Пэдди, много выше вас по рождению.

– Ну да. Поначалу я ее до смерти боялся. Она в ту пору была такая красавица, отец Ральф, и такая... сторонняя, что ли, как бы это путем объяснить. Будто ее здесь и нет, будто все это не с ней, а с кем другим происходит.

– Она и сейчас красавица, Пэдди, – мягко сказал отец Ральф. – Я по Мэгги вижу, какая была ее мать, пока не начала стареть.

– Ей нелегко жилось, ваше преподобие, но не отказываться же мне было? Со мной она по крайности пристроена, и уже никто не мог над ней измываться. Целых два года я набирался храбрости, покуда... ну, покуда не стал ей мужем по-настоящему. И пришлось ее всему научить: стряпать, полы подметать, стирать, гладить. Она ничего не умела.

И ни разу за все годы, что мы женаты, ваше преподобие, ни единого разу она не пожаловалась, и не засмеялась, и не заплакала. Только в самые-самые секретные минуты, когда мы с ней вместе, видно, что Фиа не бесчувственная, и даже тогда она ни словечка не скажет. Я все надеюсь, может, заговорит, и не хочу тоже, почему-то боюсь, вдруг она *того* по имени назовет. Нет-нет, я не говорю, что она ко мне или к детям худо относится. Но я-то ее люблю всей душой, а она, думается, больше уже ничего такого почувствовать не может. Только к Фрэнку. Я всегда знал: Фрэнка она любит больше нас всех, вместе взятых. Наверное, его отца она любила. Только мне про него ничего не известно, кто он был такой, почему ей нельзя было за него выйти.

Отец Ральф, понурясь и часто мигая, смотрел на свои руки.

– Ох, Пэдди, какая адская пытка – жизнь! Слава Богу, у меня только и хватило мужества ходить по самому ее краешку.

Пэдди, пошатываясь, поднялся:

– Ну вот, наделал я дел, верно, ваше преподобие? Выгнал Фрэнка, теперь Фиа мне вовек не простит.

– Вы не можете ей это сказать, Пэдди. Нет, вы не должны ей рассказывать, ни в коем случае. Скажите просто, что Фрэнк сбежал с боксерами, и довольно. Она знает, какой он беспокойный, она вам поверит.

– Не могу же я ей соврать! – ужаснулся Пэдди.

– Надо, Пэдди. Неужели она мало страдала и мучилась? Не взваливайте на нее нового горя.

А про себя священник подумал: как знать? Быть может, любовь, которую она отдавала Фрэнку, она научится наконец дарить и тебе – тебе и той крошке наверху.

– Вы и правда так думаете, ваше преподобие?

– Да, так. О том, что сегодня случилось, больше никто знать не должен.

– А как же Мэгги? Она все слышала.

– О Мэгги не тревожьтесь, это я улажу. Думаю, она не все поняла, знает только, что вы с Фрэнком поссорились. Я ей объясню: раз Фрэнк уехал, сказать матери про вашу ссору – значит только еще сильнее ее огорчить. Впрочем, мне кажется, Мэгги далеко не всем делится с матерью. – Он поднялся. – Идите спать, Пэдди. Не забудьте, завтра вам надо быть таким же, как всегда, и в придачу плясать под дудку Мэри.

Мэгги еще не спала: она лежала с широко раскрытыми глазами, слабо освещенная ночником у постели. Отец Ральф сел рядом и тут заметил, что косы ее все еще заплетены. Он аккуратно развязал темно-синие ленты и осторожно отделял прядь за прядью, пока ее волосы не покрыли сплошь подушку волнистым расплавленным золотом.

– Фрэнк уехал, Мэгги, – сказал он.

– Я знаю, ваше преподобие.

– А знаешь почему, детка?

– Он поссорился с папой.

– Что ты теперь будешь делать?

– Я уеду с Фрэнком. Я ему нужна.

– Ты не можешь уехать, маленькая моя Мэгги.

– Нет, могу. Я хотела сегодня его искать, только у меня ноги не идут, и я не люблю, когда темно. А утром пойду его искать.

– Нет, Мэгги, так нельзя. Пойми, Фрэнку нужно по-своему устроить свою жизнь, пора ему уехать. Я знаю, тебе этого не хочется, но он-то давно уже хотел уйти из дому. Нельзя думать только о себе, дай ему жить по-своему. – Отцу Ральфу показалось, что, опять и опять повторяя одно и то же, он внушит ей эту мысль. – Когда мы становимся взрослыми, это наше право и наше естественное желание – узнать другую жизнь, выйти из стен родного дома, а Фрэнк уже взрослый. Пора ему обзавестись собственным домом, и женой, и своей семьей. Понимаешь, Мэгги? Фрэнк с твоим папой потому и поссорились, что Фрэнку непременно хочется уйти. Вовсе не потому так получилось, что они не любят друг друга. Очень многие молодые люди именно так и уходят из дому, это для них как бы предлог. Эта ссора для Фрэнка просто предлог, чтобы поступить так, как ему очень давно хотелось, предлог, чтобы

уйти из дому. Ты поняла, моя Мэгги?

Она посмотрела ему прямо в лицо. Такие усталые глаза были у нее, такие страдальческие, совсем не детские.

– Я знаю, – сказала она. – Знаю. Фрэнк хотел уйти, когда я была маленькая, и не вышло. Папа его вернул и заставил жить с нами.

– Но на этот раз папа не станет возвращать Фрэнка, потому что теперь он уже не может заставить его остаться. Фрэнк ушел навсегда, Мэгги. Он не вернется.

– И я больше никогда его не увижу?

– Не знаю, – честно признался отец Ральф. – Я и рад бы тебе ответить: конечно, увидишь, но никто не может предсказать будущее, Мэгги, даже священник. – Он перевел дух. – Не говори маме, что они поссорились, Мэгги, слышишь? Это очень, очень ее расстроит, а она не совсем здорова.

– Потому что у нас скоро будет еще ребеночек?

– А что ты об этом знаешь?

– Мама любит отращивать малюток, она много отрастила. И у нее такие милые малютки получаются, ваше преподобие, даже когда она нездорова. Я тоже одного отращу, вроде Хэла, тогда мне не так скучно будет без Фрэнка, правда?

– Партеногенез<sup>[5]</sup>, – промолвил отец Ральф. – Желаю удачи, Мэгги. Только вдруг ты не сумеешь отрастить ребеночка?

– Ну, у меня есть Хэл, – сонно пробормотала Мэгги, сворачиваясь клубком. Потом спросила: – Ваше преподобие, а вы тоже уедете? Вы тоже?

– Когда-нибудь уеду, Мэгги. Но, наверное, не скоро, так что не волнуйся. Чует мое сердце, что я надолго, очень надолго, застрял в Джилли, – сказал священник, и в глазах его была горечь.

Ничего не поделаешь, пришлось Мэгги вернуться домой. Фиа не могла справляться без нее, а Стюарт, оставшись один в Джиленбоунском монастыре, тотчас начал голодовку – и таким образом тоже вернулся в Дрохеду.

Настал уже август и принес жестокие холода. Прошел ровно год с их приезда в Австралию, но эта зима оказалась много холоднее. Дождей нет, от морозного воздуха перехватывает дыхание. На вершинах Большого водораздела, встающего за триста миль к востоку, такой толстый слой снега, какого не видано многие годы, но с минувшего лета, после ливней, принесенных тогда муссонами, западнее Бэррен-Джанкшен не выпало ни капли дождя. Опять надо ждать засухи, говорили в Джиленбоуне, пора ей быть, давно уж не было, видно, теперь не миновать.

Мэгги увидела мать после долгой разлуки – и словно страшная тяжесть ее придавила; быть может, то уходило детство, всколыхнулось предчувствие – вот что значит быть женщиной... С виду Фиа как будто не переменилась, только живот большой; но что-то в ней ослабело, будто пружина в старых усталых часах, которые все замедляют и замедляют ход, пока не остановятся навсегда. Не стало прежней, так свойственной Фióне живости движений. Теперь она неуверенно переставляла ноги, словно позабыла, как это делается, в самой ее походке появилась растерянность; и она совсем не радовалась будущему ребенку, не

было даже того тщательно сдерживаемого удовольствия, с каким она ждала Хэла.

А этот маленький рыжик теперь ковылял по всему дому, поминутно лез куда не надо, но Фиа и не пыталась приучать его к порядку или хотя бы следить, чем он там занят. Она брела все по тому же вечному кругу – от плиты к кухонному столу, от стола к раковине – и уж ничего больше не замечала вокруг. И у Мэгги не оставалось выбора, она заполнила пустоту в жизни малыша и стала ему матерью. Это вовсе не было жертвой, ведь она нежно любила братишку, и он так беспомощно, так охотно принимал всю любовь, которую ей уже хотелось на кого-то излить. Он всегда звал ее, ее имя научился говорить прежде всех других, к ней просился на руки; и это так радовало, это было счастье. Наперекор нудным повседневным заботам – вязала ли она, шила, чинила, стирала и гладила, кормила ли кур или выполняла иную работу по дому – Мэгги все равно была довольна жизнью.

Никто не упоминал о Фрэнке, но каждые полтора месяца, заслышав издали рожок почтальона, Фиа вскидывала голову и ненадолго оживлялась. А потом миссис Смит приносила все, что пришло на имя Клири, письма от Фрэнка там не оказывалось, и мимолетное болезненное оживление вновь угасало.

В доме появились два новых человечка. Фиа родила близнецов, еще двух рыженьких Клири, их называли Джеймс и Патрик. Такие славные мальчишки, все в отца – неунывающие, доброжелательные, они с первых дней оказались на общем попечении, сама Фиа почти не обращала на них внимания, только грудью кормила. Вскоре их стали называть коротко – Джимс и Пэтси; они сделались любимцами женщин в Большом доме – двух старых дев – горничных и бездетной вдовы – экономки миссис Смит, все три давно истосковались по этой радости – нянчиться с малышами. Появление сразу трех любящих матерей помогло Фионе на диво легко забыть о близнецах, и вскоре уже само собой разумелось, что они, когда не спят, почти все время проводят в Большом доме. Мэгги просто недосуг было взять их под свое крылышко, дай Бог управиться с Хэлом, тот не желал с ней расставаться ни на минуту. Неловкие, подобострастные заигрывания миссис Смит, Минни и Кэт Хэлу не по вкусу. Мэгги – вот любящее средоточие его мирка, никто ему больше не нужен, никого он больше не желает – только Мэгги!

\* \* \*

Непоседа Уильямс сменял своих отличных ломовых лошадей и огромный фургон на грузовик, и теперь почта приходила чаще – раз не в полтора месяца, а в месяц, но от Фрэнка по-прежнему ни слова. И понемногу воспоминание о нем блекло, как всегда блекнут воспоминания, даже самые дорогие сердцу; словно помимо нашего сознания душа исцеляется и заживают раны, как бы ни была велика наша отчаянная решимость ничего не забыть. К Мэгги исцеление приходило с ноющей грустью: уже не вспомнить, какой он был, Фрэнк, смутны стали милые черты, их заслонил некий до святости просветленный облик, так же мало схожий с настоящим Фрэнком, как иконописный Христос – с тем, каким, наверное, был Сын человеческий. А к Фионе из тех молчаливых глубин, где безмолвно совершалось движение ее души, пришло на смену новое чувство.

Происходило это исподволь, никто ничего не замечал. Ведь Фиа всегда замыкалась в молчании, в непроницаемой сдержанности; и эту глубинную внутреннюю перемену никто не успевал уловить, ее ощутил лишь тот, на кого теперь обратилась ее любовь, но не подавал

виду. Это потаенное, невысказанное соединяло их и облегчало им груз одиночества.

Пожалуй, иначе и не могло быть, ведь из всех детей один только Стюарт пошел в мать. В свои четырнадцать лет он был для отца и братьев такой же неразрешимой загадкой, как прежде Фрэнк, но в отличие от Фрэнка не вызывал досады и враждебности. Не жалуясь, исполнял все, что велено, работал ничуть не меньше других и ничем не возмущал тишь да гладь в доме. Он был рыжий, как все мальчики, но темнее – волосы цвета красного дерева, а глаза, ясные, прозрачные, словно ключевая вода в тени, казалось, проникли в глубь времен, к началу начал и все видели таким, как оно есть. И он единственный из сыновей Пэдди обещал стать красивым мужчиной, хотя Мэгги в душе не сомневалась, что Хэл, когда вырастет, затмит его. Никто не знал, о чем Стюарт думает: он, как Фиа, был не щедр на слова и никогда ни о чем не высказывал своего мнения. И еще он умел как-то чудно затихать, будто замирало в неподвижности не только тело, но и душа, и сестре, с которой они были погодки, казалось, он куда-то уходит, куда больше никому нет доступа.

Отец Ральф определял это по-другому.

– У этого паренька все не по-людски! – воскликнул он в день, когда привез Стюарта домой из монастыря, где тот без Мэгги устроил голодовку. – Хоть бы он сказал, что хочет домой! Хоть бы сказал, что скучает без Мэгги! Ничего подобного! Просто взял и перестал есть и терпеливо ждет, пока эти тупые головы сообразят, с чего это он. И ни словечка жалобы. Пришел я к нему, заорал: «Ты что, домой хочешь?» – а он только улыбнулся и кивнул!

Но со временем как-то молчаливо признано было, что Стюарт не пойдет работать на выгонах с Пэдди и с братьями, хоть он уже не маленький. Его дело оставаться при доме, колоть дрова, присматривать за огородом, доить корову – счету нет хозяйственным заботам, а когда на руках трое малых детей, женщинам всюду не поспеть. Да и осторожности ради пускай будет в доме мужчина, хоть и не взрослый, вроде как знак, что есть и другие поблизости. Мало ли кто заявится посторонний – громыхнут чужие сапоги по деревянным ступеням задней веранды, чужой голос окликнет:

– Эй, хозяйка, не накормите прохожего человека?

В здешней глуши они кишмя кишат – сезонники с закатанными в синее одеяло пожитками на горбу скитаются от фермы к ферме, кто из Квинсленда, кто из Виктории; бедолаги, кому не повезло, и такие, кто побаивается связать себя постоянной работой, а предпочитает топать тысячи миль в поисках неведомо чего. Почти все они люди порядочные: придут, наедятся досыта, сунут в складки одеяла что им дадут – немного чаю, сахару, муки – и уходят по большой дороге, держа путь на Барколу или Нарранганг, позвякивая помятыми жестяными котелками, и за ними плетутся тощие псы. Австралийские путники редко ездят верхом; они передвигаются на своих двоих.

Но изредка появляется и недобрый гость, высматривает дом, где остались одни женщины, без мужчин, не для насилия – для грабежа. А потому в углу кухни, там, где не достанут малыши, всегда был прислонен к стене заряженный дробовик, и Фиа держалась к нему поближе, пока наметанным глазом не определит, каков он, захожий человек. Когда Стюарту поручили заботу о доме, Фиа с радостью передала ему дробовик.

Не все захожие люди оказывались сезонниками, хотя таких было больше всего; к примеру, появлялся на старом «фордике» приказчик из магазина Уоткинса. Он привозил все, что угодно, от лошадиной мази до душистого мыла, совсем не похожего на жесткие катыши из смеси жира и соды, которые варила Фиа в котле прачечной; привозил он и

лавандовую воду, одеколон, пудру и крем для обожженной солнцем кожи. Иные вещи никому и в голову бы не пришло купить у другого, только у продавца от Уоткинса; к примеру, имелся у него бальзам, с каким не сравнятся самолучшие аптечные снадобья и притирания, он заживлял все на свете: и разодранный бок овчарки, и язву на ноге у человека. В какую бы кухню ни заглянул приказчик Уоткинса, туда толпой сбегались женщины и нетерпеливо ждали, когда он откинет крышку большего чемодана со своим товаром.

Наезжали сюда, на край света, и другие торговцы, правда, не столь аккуратно, а от случая к случаю, но им тоже радовались, и чего они только не предлагали – от сигарет машинной набивки и причудливых курительных трубок до тканей в рулонах, а порой даже дьявольски соблазнительное белье и сверх меры изукрашенные лентами корсеты. А здешним женщинам едва ли раз или два в год удавалось съездить в ближайший город, и они так истосковались, отрезанные от роскошных магазинов Сиднея, от новинок моды и от всяких женских безделушек.

В жизни, кажется, только и осталось, что мухи да пыль. Дождя давным-давно не было, хоть бы побрызгал, прибил бы немного пыль, утомил бы мух; ведь чем меньше дождя, тем больше мух и пыли.

Со всех потолков свисают и лениво поворачиваются в воздухе длинные спиральные ленты клейкой бумаги, черные от налипших за день мух. Ни одну тарелку или кастрюлю ни на миг нельзя оставить неприкрытой, она тотчас обращается либо в пиршественный стол для мух, либо в мушиное кладбище; мухами засижены стены, мебель, красочный календарь-реклама джиленбоунского универсального магазина.

А уж пыль! Никакого спасения нет от этой тончайшей бурой пыли, она проникает под самые плотные крышки, набивается в складки одежды и занавесок, скрипит на коже, от нее тускнеют только что вымытые волосы и гладкие, полированные столы, сотрешь эту мутную пленку, не успеешь оглянуться – она снова тут как тут. На полу она лежит толстым слоем, занесенная башмаками, как их ни вытирай, и сухим жарким ветром, задувающим в распахнутые окна и двери; Фионе пришлось свернуть в гостиной персидские ковры, взамен она велела Стюарту прибить линолеум – выписала какой попало из Джиленбуона.

В кухне, куда больше всего заходило народу с улицы, дощатый пол без конца скребли проволочной мочалкой и щелочным мылом, и он стал белесым, точно старая кость. Фиа и Мэгги посыпали его опилками, которые Стюарт бережно собирал у поленницы, скупосбрызгивали драгоценной водой и потом выметали влажную, остро пахнущую смолой массу за дверь, с веранды и дальше – на огород, где она понемногу превратится в перегной.

Но ничто не могло остановить наступление пыли, а речка вскоре пересохла, обратилась в цепочку неглубоких луж, и уже неоткуда было накачать воды для кухни и ванной. Стюарт съездил с автомобилем-цистерной к Водоему, привез ее полную, вылил свою добычу в запасной бак, и женщинам пришлось привыкать мыться, мыть посуду и стирать водой, отвратительной по-другому, еще хуже, чем мутная вода из речки. Эта оказалась жесткая, отдавала едким серным запахом, посуду после нее надо было тщательно вытирать, а вымытые волосы делались тусклыми и сухими, как солома. Дождевой воды в запасе осталось совсем мало, и ее надо было беречь только для питья и стряпни.

Отец Ральф с нежностью наблюдал за Мэгги. Она расчесывала рыжие кудряшки Пэтси, а Джимс стоял рядом, чуть покачиваясь на еще нетвердых ногах, и послушно ждал своей очереди; две пары сияющих голубых глаз с обожанием смотрели на сестру. Мэгги –

настоящая маленькая мама. Должно быть, это у женщин врожденное, размышлял отец Ральф, это поразительное пристрастие к младенцам, иначе для девочки ее лет возня с ними была бы не удовольствием, а всего лишь обязанностью и она спешила бы, чуть только можно, сбегать и заняться чем-нибудь поинтереснее. А она нарочно длит это причесывание, закручивает волосы Пэтси пальцами, чтоб не курчавились как попало, а легли волнами. Несколько минут священник любовался ею, потом ударил хлыстом по запыленному сапогу для верховой езды и хмуро посмотрел с веранды туда, где, окутанный плетями глицинии, за призрачными эвкалиптами и перечными деревьями, за всевозможными сараями и службами, отделенный всем этим от жилища старшего овчара – от оси, вокруг которой вращалась вся жизнь фермы, – скрывался Большой дом. Что она замышляет, старая паучиха, что за новые сети она тклет, сидя там, посреди своей паутины?

– Отец Ральф, вы не смотрите! – с упреком сказала Мэгги.

– Извини, Мэгги. Я задумался.

Он обернулся, Мэгги уже причесала Джимса, и все трое стояли и вопросительно смотрели на него; наконец он наклонился, подхватил близнецов, одного правой рукой, другого левой.

– Что ж, идемте в гости к тетушке Мэри, так, что ли?

Мэгги пошла за ним по дороге, она несла его хлыст и вела в поводу каурую кобылу, а отец Ральф с легкостью как ни в чем не бывало нес под мышками малышей, хотя от речки до Большого дома почти миля ходу. У домика, где помещалась кухня, он передал близнецов с рук на руки восторженно просиявшей миссис Смит и повел Мэгги по дорожке к Большому дому.

Мэри Карсон восседала в своем глубоком кресле. Последнее время она его почти не покидала; да в этом больше и не было надобности, всеми делами имения превосходно управлял Пэдди. Когда вошел отец Ральф, держа Мэгги за руку, она уставилась на девочку таким недобрый взглядом, что Мэгги опустила глаза, под пальцами отца Ральфа чаще затрепетала жилка ее пульса, и он сочувственно сжал ее руку. Малышка неловко присела, здороваясь с теткой, и пролепетала что-то невнятное.

– Иди на кухню, девочка, выпей там чаю с миссис Смит, – отрывисто распорядилась Мэри Карсон.

Отец Ральф опустился в кресло, которое уже привык считать своим.

– Почему вы ее так не любите? – спросил он.

– Потому что ее любите вы, – был ответ.

– Полноте, Мэри! – Чуть ли не впервые он растерялся. – Мэгги очень одинокий ребенок.

– Вы не потому с ней нянчитесь и сами это знаете.

Великолепные синие глаза смирли ее язвительным взглядом; отец Ральф почувствовал себя увереннее.

– Вы, кажется, полагаете, что я растлитель малолетних? Как-никак я – священник!

– Вы прежде всего мужчина, Ральф де Брикассар! Как священник вы чувствуете себя в безопасности, вот и все.

Ошеломленный, он засмеялся. Почему-то сегодня ему не удастся отбивать ее выпады; похоже, она отыскала трещинку в его доспехах и забралась туда со своим паучьим ядом. А он уже не тот, быть может, стареет, привыкает к прозябанию в джиленбоунской глуши. Гаснет былой огонь; или, может быть, теперь его воспаляет не то, что прежде?

– Я не мужчина, – сказал он. – Я священник... Может быть, меня одолела жара, и пыль,

и мухи... Но я не мужчина, Мэри. Я священник.

– Ах, как вы изменились, Ральф! – съехидничала она. – Вас ли я слышу, кардинал де Брикассар!

– Это невозможно. – На миг глаза его затуманились печалью. – Кажется, мне это больше и не нужно.

Она засмеялась, покачиваясь в кресле, пристально глядя на собеседника.

– Вот как, Ральф? Кардинальство вам не нужно? Что ж, я предоставляю вам еще немного помучиться, но будьте уверены, час расплаты придет. Еще не завтра, быть может, года через два, через три, но он придет. Я как Сатана-искуситель предложу вам... Пока молчок! Но будьте уверены, я готовлю вам адские муки. Никогда я не встречала мужчины обворожительнее. Своей красотой вы бросаете нам вызов и презираете нас за безрассудство. Но я припру вас к стене вашей же слабостью, и вы продадите себя, как последняя размалеванная шляха. Не верите?

Он с улыбкой откинулся на спинку кресла:

– Верю, что попытаетесь. Но едва ли вы уж так хорошо меня знаете, как вам кажется.

– Вот как? Время покажет, Ральф, только время покажет. Я стара, у меня только одно и осталось – время.

– А у меня что осталось, по-вашему? Время, Мэри, только время. Время, и пыль, и мухи. В небе собирались тучи, и Пэдди стал надеяться на дождь.

– Будет пыльная буря, – сказала Мэри Карсон. – Эти тучи дождя не принесут. Нам еще долго ждать дождя.

Напрасно члены семейства Клири воображали, будто уже извели злейшие выходки сурового климата Австралии, их ждало еще одно испытание – пыльные бури на выжженных засухой равнинах. Лишенные умиротворяющей влаги, иссохшая земля и воздух с треском терлись друг о друга, едва ли не высекая искры, напряжение все нарастало и не могло в конце концов не разрядиться гигантским взрывом скопившейся энергии. Небо спустилось совсем низко и так почернело, что Фионе пришлось зажечь в доме лампы; на конюшне лошади вздрагивали и артачились от малейшего шума; куры забирались на насест и пугливо прятали голову под крыло; псы рычали и лезли в драку; домашние свиньи перестали рыться в отбросах на помойке, поглубже уткнулись носами в пыль и только поглядывали по сторонам быстрыми блестящими глазками. Все живое трепетало перед мрачными силами, заключенными в небесах, где огромные непроглядные тучи поглотили солнце и готовились низвергнуть пламя его на землю.

Из дальней дали, все ускоряя шаги, надвигался гром, малые вспышки на горизонте четко высвечивали очертания высоко громоздящихся туч, над иссиня-черными, как полночь, глубинами пенились ослепительно белые закрученные гребни. И вот с воем налетел вихрь, взвил столбы пыли, швырнул ее, колючую, в глаза, в уши, в рот, и все рухнуло. Теперь Пэдди и его домашним нетрудно было вообразить гнев Господень, как его живописует Библия: они ощутили его на себе. От ударов грома все вздрагивали, никто не мог удержаться – гремело яростно, оглушительно, будто шар земной распадался на куски, – но постепенно все, кто был в доме, притерпелись к этому грохоту, немного осмелели, вышли на веранду и неотрывно смотрели за реку, на дальние выгоны. Каждый миг десятки исполинских ветвистых молний вставали по всему горизонту и огнем полосовали небо; вереницы ядовито-синих вспышек проносились, ныряя в тучах, будто играли в какие-то фантастические прятки. Торчащие кое-где среди лугов деревья, в которые ударила молния, исходили едким дымом – и все Клири

поняли наконец, почему эти одинокие стражи выгонов мертвы.

В воздухе постепенно разливался жуткий, неестественный свет, самый воздух уже не был невидим, но светился каким-то затаенным, фосфорическим огнем – розовым, лиловым, сернисто-желтым, возник странный запах, въедливо сладкий, неуловимый, ни на что не похожий. От деревьев исходило мерцание, рыжие волосы всех Клири при вспышках молний были точно огненный ореол, волоски на руках стали дыбом. Так длилось целый день, лишь под вечер буря отодвинулась на восток, и с закатом солнца весь этот ужас кончился, но и тогда не пришло успокоение, все были взвинчены, раздражены. Не упало ни капли дождя. А все-таки пережить это буйство природы и остаться невредимыми было все равно что умереть и вновь вернуться к жизни; потом целую неделю только об этом и говорили.

– Радоваться рано, – скучливо сказала Мэри Карсон.

Да, радоваться было рано. Вторая сухая зима оказалась люто холодной, они и не думали, что возможен такой холод, когда нет снега; за ночь землю покрывал толстый слой инея, собаки, дрожа, съезживались в конурах и не замерзали только потому, что до отвала наедались мясом кенгуру и салом забитого домашнего скота. В морозы по крайней мере можно было вместо опостылевшей вечной баранины есть говядину и свинину. В печах и каминах пылал огонь, и мужчины, когда только могли, поневоле возвращались домой – на выгонах ночью они совсем застывали. Зато стригали съехались веселые: в холод можно работать быстрее и не так обливаться потом. В огромном сарае для стрижки овец, в отделении для каждого мастера, на полу резко выделялся светлый круг – за полвека доски пола обесцветил едкий пот, что роняли, сменяясь, стоявшие тут стригали.

После памятного наводнения еще росла трава, но она зловеще поредела. День за днем небо затягивали тучи, а дождь все не шел. Уныло завывал ветер, проносился по равнине, гнал перед собой вихри и темные завесы пыли, и они напоминали дождь, терзали воображение призраком воды. Она так походила на дождь, эта взметенная ветром пыль.

У детей трескалась кожа на коченеющих пальцах, они старались не улыбаться потрескавшимися губами, носки приклеивались к кровоточащим пяткам и щиколоткам, и их приходилось отдирать. Неутихающий жгучий ветер никак не давал сбересть тепло, ведь дома здесь построены были так, чтобы впустить малейшее дуновение, а вовсе не защищать от него. В ледяных спальнях ложились в постель, в ледяных спальнях вставали по утрам, терпеливо ждали, пока мать плеснет немножко горячей воды из огромного чайника, всегда стоящего наготове, чтобы умывание не превращалось в пытку, от которой зубы поневоле выбивают дробь.

Однажды маленький Хэл начал хрипеть и кашлять, ему становилось все хуже. Фиа смешала горячей воды с золой, сделала из этой каши припарку ему на грудь, но он дышал все так же мучительно трудно. Поначалу она не слишком тревожилась, но шли часы, малыш угасал на глазах, и она уже просто не знала, что делать, а Мэгги сидела около братишки и, ломая руки, без конца твердила про себя молитвы. В шесть вечера, когда вернулся Пэдди, хриплое дыхание Хэла слышно было даже с веранды и губы стали синие.

Пэдди тотчас кинулся в Большой дом, к телефону, но доктор, живший за сорок миль, как раз уехал к другому больному. Запалили на сковородке немного серы и держали над ней Хэла – быть может, от сильного кашля вылетит из гортани пленка, которая медленно душит его... но в груди у него не было сил ее вытолкнуть. Он совсем посинел, дышал судорожно, прерывисто. Мэгги держала братишку на руках и молилась, у нее сердце разрывалось, больно было смотреть, как несчастный малыш борется за каждый вздох. Он ей дороже всех детей в

семье; в сущности, она ему мать. Никогда еще она так не хотела быть настоящей взрослой матерью, ей казалось: будь она взрослая женщина, как Фиа, ей была бы дана сила, способная его вылечить. Фиа не может его вылечить, потому что Фиа ему не мать. Растерянная, перепуганная, Мэгги прижимала к себе содрогающееся тельце, пытаясь помочь Хэлу дышать.

Ей и в голову не пришло, что он может умереть, даже когда Фиа и Пэдди, не зная, что еще делать, опустились на колени у кровати и стали молиться. В полночь Пэдди высвободил неподвижное тело из рук Мэгги и тихонько уложил на подушки.

Девочка мгновенно открыла глаза – она задремала было, убаюканная затишьем, оттого что Хэл больше не бился в судорогах.

– Ему лучше, папочка! – сказала она.

Пэдди покачал головой; казалось, он ссохся и постарел, свет лампы падал на изморозь, серебрящуюся у него в волосах и на подбородке, в отросшей за неделю щетине.

– Нет, Мэгги, Хэлу не лучше в том смысле, как ты думаешь, но он успокоился. Бог взял его, и он больше не страдает.

– Папа хочет сказать, что Хэл умер, – ровным голосом сказала Фиа.

– Нет, папочка, нет! Не умер! Не может быть!

Но малыш, утонувший в подушках, был мертв.

Мэгги поняла это с первого взгляда, хотя никогда прежде не видела смерти. Будто не ребенок лежит, а кукла. Мэгги встала и вышла к братьям, они понуро сидели на кухне у очага, будто несли какую-то тягостную вахту, а рядом миссис Смит, выпрямившись на деревянном стуле, присматривала за крохотными близнецами – их кроватку перенесли в кухню, ведь здесь теплее всего.

– Хэл сейчас умер, – сказала Мэгги.

Стюарт очнулся от глубокой задумчивости, поднял голову.

– Так лучше, – сказал он. – Ведь это покой.

В дверях появилась Фиа, Стюарт поднялся, подошел к матери, но не коснулся ее.

– Ты, наверное, устала, мама. Иди ляг, я разожгу у тебя в спальне камин. Иди, иди ляг.

Фиа молча повернулась и пошла за ним. Боб тоже встал, вышел на веранду. Остальные мальчишки помялись немного, потом вышли за Бобом. Пэдди не появлялся. Миссис Смит, не говоря ни слова, выкатила из угла веранды коляску, осторожно уложила спящих близнецов. По щекам ее катились слезы; она посмотрела на Мэгги.

– Я иду в Большой дом, Мэгги, – сказала она. – Джимса и Пэтси беру с собой. Утром приду опять, но лучше пускай маленькие побудут у нас, я, Минни и Кэт за ними присмотрим. Скажи маме.

Мэгги опустилась на стул, сложила руки на коленях. Умер, ее малыш умер! Маленький Хэл, она так о нем заботилась, так любила его, была ему матерью. Место, которое он занимал в ее душе, еще не опустело; она и сейчас ощущает на руках его теплую тяжесть. Четыре долгих года она ощущала эту тяжесть, а больше уже никогда ей не держать его на руках... Ужасно! И тут нет слез; плакать можно было из-за Агнес, из-за ран, от которых не спасала хрупкая скорлупка – чувство собственного достоинства, плакать можно было в детстве, а оно позади и не вернется. Эту новую тяжесть Мэгги должна будет нести до конца дней и жить ей наперекор. В иных людях воля к жизни очень сильна, в других – слабее. В Мэгги она была тонкой и прочной, как стальной трос.

Так и застал девочку отец Ральф, когда привез врача. Мэгги молча показала им в сторону коридора, но не пошла за ними. И очень не скоро священнику удалось, как он жаждал с

первой минуты после звонка Мэри Карсон, подойти наконец к Мэгги, побыть с ней, согреть маленькую Золушку семейства Клири толикой душевного тепла, отданного только ей одной. Он сильно сомневался, чтобы хоть кто-то еще понимал, как много значил для нее Хэл.

Но это удалось очень не скоро. Надо было совершить последний обряд – быть может, душа еще не покинула тело, – и поговорить с Фионой, и поговорить с Пэдди, и дать кое-какие практические советы. Доктор уже уехал, он был удручен, но давно привык к трагедиям, неизбежным, когда пациентов отделяют от врача многие десятки миль. Впрочем, судя по тому, что ему рассказали, он все равно не мог бы ничем помочь так далеко от своей больницы, от помощников и сестер. Забираясь в такую даль, люди сами идут на риск, бросают вызов судьбе и упорствуют наперекор всему. В свидетельстве о смерти он поставит одно слово: круп. Эта болезнь убивает быстро.

Но вот отец Ральф позаботился обо всем, о чем только мог. Пэдди ушел к жене. Боб с братьями – в мастерскую, делать гроб. Стюарт сидел на полу в комнате Фионы, его точеный профиль, так схожий с материнским, тонким силуэтом выделялся на фоне ночного неба за окном; Фиа откинулась на подушки, сжимая в ладонях руку Пэдди, и неотрывно смотрела на сына, который съезжился в темный комок на холодном полу. Уже пять часов, дремотно закопошились петухи на насестах, но до рассвета еще далеко.

На кухне огонь в очаге почти погас; забыв снять с шеи лиловую епитрахиль, отец Ральф наклонился и разжег пламя, потом привернул фитиль лампы на столе за спиной и сел на деревянную скамью напротив Мэгги, присмотрелся к ней. Выросла Мэгги, движется вперед семимильными шагами, вдруг ее уже и не догонишь? И, присматриваясь к ней, он остро, как никогда, ощутил бессилие, сомнение в собственном мужестве – чувство, которое грызло и преследовало его всю жизнь. А чего он, в сущности, боится? С чем, случись оно, не посмеет столкнуться лицом к лицу? Он ведь бывает сильным, когда надо постоять за других, и он никого не боится, но страшно другое, нечто безымянное, неведомое в нем самом, – вдруг оно проскользнет в сознание и застигнет его врасплох? А вот Мэгги, которая моложе его на восемнадцать лет, его перерастает.

Нет, она не святая, она почти такая же, как все. Только никогда не жалуется, это особый дар – а быть может, проклятие? – всеприемлющего терпения. Какова бы ни была утрата, какой бы ни обрушился удар, она встречает их, принимает все, что есть, и хранит в себе и тем питает пламя, горящее внутри. Что научило ее этому? И можно ли этому научиться? Или он просто выдумал ее, приукрасил в своем воображении? Да и не все ли равно? Что важнее – подлинная Мэгги или та, какой она ему кажется?

– Ох, Мэгги, – беспомощно пробормотал он.

Она подняла на него глаза и из глубины страдания улыбнулась ему; была в этой улыбке безмерная, беззаветная, ничем не сдерживаемая любовь, еще не ведающая запретов, что вынуждают женщину скрывать свои чувства. Эта безмерная любовь потрясала его, сжигала – почему, почему Бог, в чьем бытии он порой сомневался, не создал его другим, кем угодно, только не Ральфом де Брикассаром?! Так, может быть, это оно и есть – то неведомое и опасное, что скрыто в нем самом? О Господи, ну почему он так ее любит? Но, как всегда, никто ему не ответил, а Мэгги все сидела и улыбалась ему.

На рассвете Фиа поднялась и начала готовить завтрак. Стюарт ей помогал, потом пришла миссис Смит, привела Минни и Кэт, и женщины, стоя вчетвером у плиты, толковали о чем-то ровными, приглушенными голосами, словно объединенные неким таинством скорби, которого не понять было ни Мэгги, ни священнику. После завтрака Мэгги пошла

выстлать изнутри маленький деревянный ящик, мальчики сработали его на совесть, гладко выстругали и отполировали каждую дощечку. Фиа молча дала ей белое длинное шелковое платье, от старости шелк давно уже сделался желтоватым, как слоновая кость, и Мэгги отмерила полосы ткани точно по внутренним стенкам. Потом прострочила их на машинке, получились чехлы, а отец Ральф наполнил их лоскутами, этой мягкой обивкой затянули внутренние стенки и укрепили ее кнопками. Тогда Фиа обрядила своего малыша в парадный бархатный костюмчик, причесала его и уложила в это мягкое гнездышко, от которого пахло ею, а не Мэгги, не той, что была ему настоящей матерью. Пэдди закрыл гроб крышкой, он плакал – впервые он потерял ребенка.

Парадная зала в Дрохеде уже многие годы служила домашней церковью; в одном конце поставлен был алтарь, монахини из монастыря Святой Марии расшили для него золотом покров, за что получили от Мэри Карсон тысячу фунтов. Миссис Смит убрала алтарь и всю залу зимними цветами из дрохедских садов – несчетными желтофиолями и поздними розами – розовые и ржаво-оранжевые, они казались нарисованными и словно бы только по волшебству источали еще и аромат. Отец Ральф, в белом стихаре без кружев поверх строгой черной сутаны, отслужил заупокойную мессу.

Как почти во всех больших имениях этого далекого края, в Дрохеде покойников хоронили тут же, на своей земле. Кладбище лежало за садами, на поросшем ивами речном берегу, его окружала кованая железная ограда, выкрашенная белой краской, и даже теперь, в засуху, здесь было зелено, потому что поливали водой из дрохедских цистерн. Здесь, во внушительном мраморном склепе, похоронены были Майкл Карсон и младенец – его сын, и мраморный ангел в человеческий рост, с обнаженным мечом в руке, охранял их покой. Но эту пышную гробницу окружало могил десять или двенадцать куда более скромных, границы их обозначались ровными рядами проволочных белых полукружий наподобие крокетных ворот, да белели простые деревянные кресты, иные даже без имени: лежал тут безродный стригаль, убитый в драке; двое или трое бродяг, на чьем пути Дрохеда оказалась последним привалом; чьи-то безвестные, безымянные кости, найденные на одном из выгонов – неизвестно даже, мужчине они когда-то принадлежали или женщине; китаец – повар Майкла Карсона – над его прахом стоял причудливый ярко-красный зонтик, увешанный крохотными колокольчиками, которые словно бы грустно, нескончаемо вызванивали его имя: Хи Синг, Хи Синг, Хи Синг; какой-то гуртовщик – на его кресте только и было написано: «Чарли с Тэнкстенда, хороший был парень»; и еще несколько покойников, в том числе и женщины. Но Хэла, племянника владелицы Дрохеды, не подобало хоронить так скромно, самодельный гробик поместили в склепе в подобие саркофага, и бронзовые двери искусной работы затворились за ним.

Шло время, и о Хэле говорить перестали, разве что упомянут мельком. Мэгги хранила свое горе про себя; в этой боли, как всегда у детей, скрывалось нерассуждающее отчаяние, непомерное, непостижимое, но как раз оттого, что Мэгги еще не была взрослой, отчаяние заслоняли и отодвигали простые повседневные события. Мальчики не слишком горевали, кроме Боба – он-то, самый старший, нежно любил маленького братишку. Глубока была скорбь Пэдди, но никто не знал, оплакивает ли сына Фиа. Казалось, она все дальше отходит от мужа и детей, отрешается от всех чувств. И Пэдди в душе горячо благодарил Стюарта – вот кто неумоимо, с особенной серьезной нежностью заботился о матери. Один лишь Пэдди знал, какой была Фиа в тот день, когда он вернулся из Джиленбоуна без Фрэнка. Ни искры

волнения не вспыхнуло в ее ясных серых глазах, их не оледенили упрек, ненависть или скорбь. Словно она просто ждала удара, как ждет обреченная собака смертоносной пули, зная свою участь и не в силах ее избежать.

— Я знала, что он не вернется, — сказала она тогда.

— Может быть, и вернется, Фиа, только напиши ему поскорей.

Она покачала головой, но не стала ничего объяснять, она оставалась верна себе. Пусть Фрэнк начнет новую жизнь подальше от Дрохеды и от нее. Она слишком хорошо знала сына и не сомневалась: одно ее слово — и он снова будет здесь, а значит, никогда у нее не вырвется это слово. Если дни ее долги и горьки, ибо она потерпела поражение, терпеть надо молча. Она не сама выбрала Пэдди, но лучше Пэдди нет и не было человека на свете. Фиа была из тех людей, кто чувствует слишком сильно, так, что уже нельзя терпеть, нельзя жить, и она получила жестокий урок. Почти двадцать пять лет она подавляла в себе всякое чувство и убеждена была, что такое упорство в конце концов победит.

Жизнь продолжалась, длился все тот же извечный, размеренный земной круговорот; летом, хоть муссоны и не дошли до Дрохеды, выпали их спутники — дожди, наполнили реку и цистерны, напоили корни изжаждавшейся травы, смыли всепроникающую пыль. Чуть не плача от радости, люди занимались своим делом, как требовало время года, от души отлегло: овцы не останутся без подножного корма. Травы как раз хватило, удалось продержаться до новой, подбавляя ветки самых густолиственных деревьев, — но так было не на всех джиленбоунских фермах. Сколько на ферме скота, это всецело зависит от скотовода, который ею управляет. Для огромных пастбищ Дрохеды стадо здесь было не так уж велико, а потому прокормиться могло дольше.

Время окота и сразу после него — самая горячая, изнурительная пора в году овчара. Каждого новорожденного ягненка надо подхватить, окольцевать ему хвост, пометить ухо, а барашка, не предназначенного на племя, еще и холостить. Ужасная, отвратительная работа, одежда вся в крови, хоть выжми, потому что в короткий отпущенный на это срок управиться со многими тысячами ягнят-самцов можно только одним способом. Яички зажимают между пальцами, откусывают и сплевывают наземь. Хвосты всех ягнят, без различия пола, перехватывают тугим жестяным кольцом, так что кровообращение нарушается, хвост пухнет, потом высыхает и отваливается.

В Австралии разводят отменнейших тонкорунных овец, и с таким размахом, как нигде в мире, а рабочих рук не хватает, и все здесь предназначено для наилучшего производства наилучшей шерсти. Есть такая работа — очистка: шерсть на зад у овцы слипается от навоза, становится зловонной, кишит мухами, чернеет, сбивается в колтун. Поэтому надо ее здесь постоянно выстригать, это и есть очистка. Та же стрижка, хоть и малая, но куда неприятнее, в вони, в туче мух, за нее лучше платят. Затем — мойка: тысячи и тысячи истошно блеющих, скачущих овец надо собрать и прогнать через лабиринт с длинными чанами и каждую на мгновение окунуть в чан с фенилом, такая ванна избавляет животных от клещей, блох и прочей дряни. И еще вливания: в глотку овце суют огромную спринцовку и впрыскивают лекарства, избавляющие от внутренних паразитов.

И нет конца и края этой возне с овцами; едва покончено с одной работой — пора приниматься за другую. Осматривать, сортировать, перегонять с пастбища на пастбище, подбирать и менять производителей, заниматься стрижкой и очисткой, мойкой и вливаниями, забивать и отправлять на продажу. Помимо овец, в Дрохеде насчитывалось до

тысячи голов крупного рогатого скота лучшей породы, но овцы много выгоднее, так что в хорошие времена в имении на каждые два акра приходилось по овце, всего около 125 000 голов. Все это были мериносы, и потому на мясо их не продавали; когда по старости они переставали давать первосортную шерсть, их отправляли на живодерни и кожевенные заводы и превращали в кожи и ланолин, свечное сало и клей.

И вот постепенно для семейства Клири исполнились смысла классики австралийской литературы. Здесь, в Дрохеде, на краю света, вся семья сильнее, чем когда-либо, пристрастилась к чтению; отрезанных от мира, их только и соединяло с ним волшебство печатного слова. Но поблизости не было, как прежде в Уэхайне, библиотеки с выдачей на дом, нельзя было, как там, каждую неделю ездить в город за письмами, газетами и свежим запасом книг. Отец Ральф заполнял эту брешь, совершая налеты на Джиленбоунскую библиотеку, на книжные полки у себя и в монастыре – и, не успев еще все их перебрать, с удивлением убедился, что при посредстве Непоседы Уильямса и его почтового грузовика основал целую странствующую библиотеку. Среди грузов Непоседы теперь неизменно были книги – затасканные, затрепанные томики путешествовали от Дрохеды к Бугеле, от Диббен-Диббена и Брейк-и-Пвл до Каннаматы и Ич-Юиздж и давали пищу благодарным умам, изголодавшимся и жаждущим вырваться из повседневности. Возвращали эти сокровища очень неохотно, но отец Ральф и монахини тщательно отмечали, где какие книги задерживаются дольше, а затем отец Ральф через агентство в Джилли выписывал новые экземпляры за счет Мэри Карсон и премило уговаривал ее считать это даром Австралийскому обществу книголюбов.

В те времена не всякая книга могла похвастать даже самым целомудренным поцелуем хоть на одной своей странице, никакие эротические описания не щекотали воображение, граница между книгами для взрослых и для отрочества была не столь отчетлива, и ничуть не зазорно было человеку в возрасте Пэдди увлекаться теми же книжками, какими зачитывались его дети: «Крошка и кенгуру», похождения Джима, Норы и Уолли в выпусках «Биллабонга», бессмертный роман миссис Энис Ган «Мы из неведомого края». Вечерами в кухне по очереди читали вслух стихи «Банджо» Патерсона и К.-Дж. Денниса, восторгались скачкой «Парня со Снежной реки», смеялись вместе с «Чувствительным парнем» и его Дорин, украдкой утирали слезы, вызванные «Смеющейся Мэри» Джона О'Хары.

Другу Кленси написал я, только адреса не знал я,  
В те края письмо послал, где сперва его встречал.  
Стригалим он был тогда, я письмо послал туда,  
Наугад я написал так: «В Разлив, для Кленси».  
И ответ пришел такой, незнакомою рукой,  
Будто в деготь обмакнули гвоздь корявый и тупой.  
Я спешил ответ прочесть – вот она, про Кленси весть:  
«Он овец погнал на Квинсленд, и не знаем, где он есть».  
Не унять воображенья, так и вижу что ни день я:  
Едет Кленси по равнине, путь вдоль Купера-реки.  
Вслед за стадом едет Кленси, распевает песни Кленси,  
Так всегда неспешно, с песней гонят скот гуртовщики.  
В городах нам неизвестны эти радости и песни.  
День приветный, солнце светит, и речной сверкает плес,

Люди дружески встречают, ветерок в кустах играет.  
Полночь в небе рассыпает без числа алмазы звезд.

«Кленси с Разлива» были их любимые стихи, авторы «Банджо» – любимые поэты. Не бог весть что за стишки, но ведь эта поэзия и предназначалась не для знатоков и мудрецов, а для простых людей и говорила о простых людях, и в те времена в Австралии куда больше народу знало на память эти стишки, чем обязательные отрывки из Теннисона и Вордсворта, какие задают учить в школе, – в своем роде и это не бог весть какие стишки, да притом вдохновленные Англией. Несчетные нарциссы и лужайки, поросшие асфоделями, ничего не говорили детям Клири – жителям края, где ни нарциссы, ни асфодели существовать не могут.

А поэты австралийской глуши им близки и понятны: ведь Разлив у них под боком и отары, перегоняемые по БСП, – их будни. БСП, Большой Скотопрогонный Путь, проходит близ берегов Баруона, эту своеобразную полосу отчуждения правительство отвело именно для того, чтобы переправлять четвероногий товар по восточной половине материка из конца в конец. В прежние времена гуртовщиков и их голодные отары, которые поедали или вытапывали на ходу каждую травинку, ждал отнюдь не добрый прием, а погонщики быков, что черепашьям шагом проводили от двух до восьми десятков голов напрямик по лучшим пастбищам окраинных поселенцев, и вовсе вызывали лютую ненависть. Теперь, при определенных правительством скотопрогонных путях, все это стало полузабытой сказкой, и люди оседлые и перекати-поле уже не враждовали друг с другом.

Если кому из гуртовщиков случалось заглянуть на ферму – выпить пива, потолковать, поесть разок не всухомятку, их встречали радушно. Иногда с ними бывали и женщины – ездили в какой-нибудь старой разбитой двуколке, обвешанной брякающими и звякающими котелками, кастрюльками, фляжками, точно бахромой, и волокла все это давно забракованная кляча с вытертой шкурой. То были либо самые веселые, либо самые угрюмые женщины края света; они разъезжали от Кайнуны до Пару, от Гундивинди до Гандагаи, от Кэтрин до Карри. Станные женщины: у них никогда не бывало крыши над головой, их жилистые тела не привыкли к мягким матрасам, ни один мужчина не мог тягаться с ними – упорными, выносливыми, как земля, цветущая под их неутомимыми ногами. Дети их, дикие, как птицы в пронизанных солнцем кронах деревьев, пугливо жались к двуколке или бежали и прятались за поленницу, а родители за чаем беседовали с хозяевами, обменивались всякой небывальщиной и книгами, обещали передать путанные поручения какому-нибудь Хупирону Коллинзу или Брамби Уотерсу и ошеломляли слушателей сказочками про Помми-желторотика, новосела Гнарлунги. И почему-то ясно было, что эти перекати-поле в своих скитаниях по БСП уже вырыли могилу, схоронили ребенка ли, жену, мужа или друга-товарища у подножия какой-нибудь незабвенной придорожной кулибы – ведь все деревья кажутся одинаковыми лишь тем, кто не знает, как сердце может отметить и запомнить в бескрайних лесах одно-единственное дерево.

Во всем, что касается пола и деторождения, Мэгги была совершенной невеждой – жизнь, как нарочно, преграждала ей доступ к каким-либо знаниям по этой части. Отец строго делил семью: мужчинам – свое, женщинам – свое; при матери и сестре никогда не говорили о племенном скоте, о случке и окоте, никогда не показывались им на глаза полуодетыми. Книги, которые дали бы девочке хоть какой-то ключ, в Дрохеду не попадали, и

у нее не было подруг, сверстниц, способных пополнить ее образование. Постоянные хозяйственные заботы приковали ее к дому, а вокруг дома не происходило ничего, связанного с полом. На Главной усадьбе почти все животные были холощенные. Мэри Карсон не разводила лошадей, а покупала в Бугеле у Мартина Кинга, у него был конный завод; но если не разводить лошадей, с жеребцами одна морока – и в Дрохеде не было ни одного жеребца. Был, правда, бык, дикий, свирепый зверь, но соваться туда, где его держали, строжайше запрещалось, и напуганная Мэгги близко не подходила. Собаки сидели в конурах на цепи, о получении чистопородного потомства заботились по всем правилам науки, за этим следили орлиным глазом Боб или сам Пэдди, и сюда тоже доступа не было. И некогда было присматриваться к свиньям – Мэгги их терпеть не могла и досадовала, что приходится задавать им корм. По правде говоря, ей ни к кому некогда было присматриваться, кроме малышей братишек. А неведение порождает неведение; когда тело и разум еще не проснулись, они проспят и такие события, которые естественно отметит тот, кто предупрежден.

Перед самым днем рождения, когда Мэгги исполнялось пятнадцать, в разгар оглушающей летней жары, она стала замечать на трусиках бурые пятна. Дня через два они исчезли, а через полтора месяца опять появились, и тогда стыд сменился ужасом. Сначала она приписала их своей неопрятности, это было унижительно, но во второй раз стало ясно, что это кровь. Мэгги понятия не имела, откуда это – наверное, из кишок. Три дня спустя слабое кровотечение кончилось, и ничего такого не было больше двух месяцев; никто не заметил, как она тайком стирала трусики, ведь на ней лежала почти вся стирка. В следующий раз она почувствовала еще и боль, а ведь у нее никогда в жизни ничего не болело, разве что стошнит от волнения. И кровь шла все сильнее и сильнее. Она потихоньку утащила старые пеленки близнецов и пыталась повязываться под трусиками и дрожала от ужаса – вдруг просочится наружу.

Когда смерть унесла Хэла, то был внезапный, грозный и непостижимый удар судьбы; но какой ужас – уходить из жизни так медленно, постепенно. И мыслимо ли пойти к отцу с матерью и сказать им, что умираешь от какой-то мерзкой, постыдной кишечной болезни? Только Фрэнку она, пожалуй, призналась бы в своих мучениях, но Фрэнк далеко, и неизвестно, где его искать. Мэгги наслушалась разговоров о раке и злокачественных опухолях, за чашкой чая женщины нередко рассказывали о том, как долго, мучительно умирали их подруги, матери, сестры, и теперь она ничуть не сомневалась – ее внутренности тоже пожирает какая-то опухоль, неслышно въедается все глубже, тянется к холодеющему от страха сердцу. Ох, как не хочется умирать!

[Купить полную версию книги](#)



Неравный брак, здесь – брак ниже ее достоинства (*фр.*).

Солдаты Австралийско-Новозеландского корпуса в годы Первой мировой войны.

По Фаренгейту.

От «скваттер» – австралийский первопоселенец плюс аристократ.

Однополое размножение.